



ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 2015

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

**ПОСЛЕДНИЕ
СВИДЕТЕЛИ**

СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

Лауреат Нобелевской премии 2015

за многоголосное творчество —
памятник страданию и мужеству
в наше время

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ

СОЛО
ДЛЯ ДЕТСКОГО
ГОЛОСА



МОСКВА 2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6-46
А48



Оформление — Валерий Калныньш

Алексиевич, С. А.

А48 Последние свидетели : Соло для детского голоса. — М. : Время, 2017. — 304 с. — 4-е изд., стереотип. — (Собрание произведений)
ISBN 978-5-9691-1649-8

Вторая книга знаменитого художественно-документального цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года «за многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».

Воспоминания о Великой Отечественной войне детей — самых беспристрастных и самых несчастных ее свидетелей. Война, увиденная детскими глазами, оказалась еще страшнее, чем запечатленная женским взглядом в книге «У войны не женское лицо». «Последние свидетели» — это подвиг детской памяти. Как и остальные книги цикла, публикуется в новой авторской редакции.

ББК 84(2=411.2)6-46

ISBN 978-5-9691-1649-8



9

785969 116498

© Светлана Алексиевич, 2017

© «Время», 2017

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ



...одна цитата

Во время Великой Отечественной войны (1941—1945 годы) — погибли миллионы советских детей: русские, белорусы, украинцы, евреи, татары, латыши, цыгане, казахи, узбеки, армяне, таджики...

*Журнал «Дружба народов», 1985,
№ 5*

...и один вопрос русского классика

Когда-то Достоевский поставил вопрос: а найдется ли оправдание миру, нашему счастью и даже вечной гармонии, если во имя этого, для прочности фундамента, будет пролита хотя бы одна слезинка невинного ребенка? И сам ответил — слезинка эта не оправдает ни один прогресс, ни одну революцию. Ни одну войну. Она всегда перевесит. Всего одна слезинка...

|||||00P02P03070101010411P00P0B00130H0E1J06G6100601010

Сейчас — рабочая.

Я запомнила. Я была совсем маленькая, но я все запомнила...

Утром проснулась от страха. От каких-то незнакомых звуков...

Проснулись сестричка и братик Вася, сестричка смотрит, что я плачу, и она закричала: «Папа!». Выскочили мы все на крыльцо: «Папа!». Отец увидел нас и, как сей-

час помню, закрыл голову руками и пошел, даже побежал. Он оглянуться боялся.

Солнце светило мне в лицо. Так тепло... И теперь не верится, что мой отец в то утро уходил на войну. Я была совсем маленькая, но мне кажется, я сознавала, что вижу его в последний раз. Больше никогда не встречу. Я была совсем... совсем маленькая...

Так и связалось у меня в памяти, что война — это когда нет папы...

А потом помню: черное небо и черный самолет. Возле шоссе лежит наша мама с раскинутыми руками. Мы просим ее встать, а она не встает. Не поднимается. Солдаты завернули маму в плащ-палатку и похоронили в песке, на этом же месте. Мы кричали и просили: «Не закапывайте нашу мамку в ямку. Она проснется, и мы пойдем дальше». По песку ползали какие-то большие жуки... Я не могла представить, как мама будет жить под землей с ними. Как мы ее потом найдем, как мы встретимся? Кто напишет нашему папе?

Кто-то из солдат спрашивал меня: «Девочка, как тебя зовут?». А я забыла. «Девочка, а как твоя фамилия? Как зовут твою маму?» Я не помнила... Мы сидели возле маминого бугорка до ночи, пока нас не выбрали и не посадили на телегу. Полная телега детей. Вез нас какой-то старик, собирал всех по дороге. Приехали в чужую деревню, и разобрали нас по хатам чужие люди.

Я долго не разговаривала. Только смотрела.

Потом помню — лето. Яркое лето. Чужая женщина гладит меня по голове. Я начинаю плакать. И начинаю говорить... Рассказывать о маме и папе. Как папа бежал от нас и даже не оглянулся... Как мама лежала... Как ползали жуки по песку...

Женщина гладит меня по голове. В эти минуты я поняла: она похожа на мою маму...

«МОЯ ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ СИГАРЕТА...»

Гена Юшкевич — 12 лет.

Сейчас — журналист.

Утро первого дня войны...

Солнце. И необычная тишина. Непонятное молчание.

Наша соседка, жена военного, вышла во двор вся в слезах. Она что-то шепнула маме, но показала знаками, что надо молчать. Все боялись произнести вслух то, что случилось, даже тогда, когда уже знали, ведь кому-то уже успели сообщить. Но они боялись, чтобы их не назвали провокаторами. Паникерами. А это страшнее войны. Они боялись... Это я сейчас так думаю... И конечно, никто не верил. Что вы! Наша армия — на границе, наши вожди — в Кремле! Страна надежно защищена, неприступна для врагов! Это я тогда так думал... Я был пионер.

Крутили радио. Ждали выступления Сталина. Его голос был нужен. Но Сталин молчал. Потом выступил Молотов. Все слушали. Молотов сказал: «Война». Все равно еще никто не верил. Где Сталин?

Налетели на город самолеты... Десятки незнакомых самолетов. С крестами. Они закрыли небо, закрыли солнце. Ужас! Посыпались бомбы... Бесперывно слышались взрывы. Треск. Все происходило как во сне. Не наяву. Я уже был не маленький, я запомнил свои чувства. Свой страх, который расползлся по всему телу. По всем словам. Мыслям. Мы выскочили из дома, бе-

жали куда-то по улицам... Мне казалось, что города уже нет, одни развалины. Дым. Огонь. Кто-то сказал: надо бежать на кладбище, потому что кладбище бомбить не будут. Зачем бомбить мертвых? В нашем районе было большое еврейское кладбище, со старыми деревьями. И все бросились туда, там собрались тысячи людей. Они обнимали камни, прятались за плитами.

Там мы с мамой просидели до ночи. Никто вокруг не произносил слово «война», я слышал другое слово — «провокация». Его повторяли все. Разговоры были, что вот-вот наши войска перейдут в наступление. Сталин дал приказ. И в это верили.

Но всю ночь гудели заводские трубы на окраинах Минска...

Первые убитые...

Первой... увидел убитую лошадь... Следом... убитую женщину... Это меня удивило. Я представлял, что на войне убивают только мужчин.

Проснусь утром... Хочу вскочить, а потом вспоминаю — война, и закрываю глаза. Не хочется верить.

На улицах перестали стрелять. Вдруг тишина. Несколько дней было тихо. И потом сразу началось движение... Идет, например, белый человек, весь от ботинок до волос белый. В муке. И несет на себе белый мешок. Другой бежит... У него из карманов падают консервные банки, в руках консервные банки. Конфеты... Пачки табака... Кто-то несет перед собой шапку с сахаром... Кастрюлю с сахаром... Не описать! Один тащит рулон ткани, другой идет весь обмотанный синим ситцем. Красным... Смешно, но никто не смеется. Это разбомбили продуктовые склады. Большой магазин недалеко от нашего дома... Люди бросились разбирать то, что там осталось. На сахарном заводе несколько человек утонуло в чанах с сахарной патокой. Ужас! Весь город грыз семечки. Нашли где-то склад с семечками. На моих глазах прибежала к магазину женщина... У нее с собой ничего не было: ни мешка, ни сетки — так она сняла

с себя комбинацию. Рейтузы. И набила их гречневой крупой. Потатила. Все это почему-то молча. Никто не разговаривал.

Когда я позвал маму, осталась одна горчица, желтые банки с горчицей. «Не бери ничего», — просила мама. Позже она призналась, что ей было стыдно, потому что всю жизнь она учила меня другому. Даже когда мы голодали и вспоминали эти дни, все равно ни о чем не жалели. Такая была моя мама.

По городу... По нашим улицам спокойно гуляли немецкие солдаты. Снимали все на киноплёнку. Смеялись. У нас до войны была любимая игра, мы рисовали немцев. Рисовали их с большими зубами. Клыками. А тут они ходят... Молодые, красивые... С красивыми гранатами, засунутыми в голенища крепких сапог. Играют на губных гармошках. Даже шутят с нашими красивыми девушками.

Пожилой немец тащит какой-то ящик. Ящик тяжелый. Он подозвал меня и показал: помоги. У ящика были две ручки, мы взялись с ним за эти ручки. Когда донесли, куда надо, немец похлопал меня по плечу и достал из кармана пачку сигарет. Вот, мол, плата.

Я пришел домой. Мне не терпится, сел на кухне и закурил. И не слышал, как стукнула дверь, заходит мама:

— Куришь?

— М-м...

— А сигареты чьи?

— Немецкие.

— Куришь, да еще вражеские сигареты. Это измена Родине.

То была моя первая и последняя сигарета.

Однажды вечером мама села возле меня:

— Мне невыносимо, что они здесь. Ты меня понимаешь?

Она хотела бороться. С первых дней. Мы решили искать подпольщиков, мы не сомневались, что они есть. Ни на минуту не сомневались.

— Я люблю тебя больше всех на свете, — сказала мама. — Но ты меня понимаешь? Ты меня простишь, если с нами что-нибудь случится?

Я влюбился в свою маму, теперь я слушал ее беспрекословно. И это потом осталось на всю жизнь.

«ОНИ ЛЕЖАЛИ НА УГЛЯХ РОЗОВЫЕ...»

Катя Коротаяева — 13 лет.

Сейчас — инженер-гидротехник.

Расскажу о запахе... Как пахнет война...

До войны я окончила шесть классов. Тогда был такой порядок в школе, что начиная с четвертого класса все сдавали экзамены. И вот мы сдали последний экзамен. Это был июнь, а май и июнь в сорок первом были холодные. Если у нас сирень цветет где-то в мае, то в тот год она цвела в середине июня. И вот начало войны у меня всегда связано с запахом сирени. С запахом черемухи. Эти деревья всегда пахнут мне войной...

Жили мы в Минске, и родилась я в Минске. Отец — военный капельмейстер. Я ходила на военные парады с ним. Кроме меня, в семье было еще два старших брата. Меня, конечно, все любили и баловали как самую младшую, да еще сестричку.

Впереди лето, впереди каникулы. Это было очень радостно. Я занималась спортом, ходила в Дом Красной Армии плавать в бассейн. И мне очень завидовали, даже мальчишки в классе завидовали. А я задавалась, что умею хорошо плавать. Двадцать второго июня, в воскресенье, должно было праздноваться открытие Комсомольского озера. Его долго копали, строили, даже наша школа ходила на субботники. Я собиралась пойти искупаться одной из первых. А как же!

Утром у нас было принято ходить за свежими булочками. Это считалось моей обязанностью. По дороге я

встретила подругу, она мне сказала, что началась война. На нашей улице был много садов, домики утопали в цветах. Я подумала: «Какая война? Что она придумала?».

Дома отец ставил самовар... Не успела я ничего рассказать, как начали прибегать соседи, и у всех на губах одно слово: «Война! Война!». А назавтра в семь утра самому старшему брату принесли повестку в военкомат. Днем он сбегал на работу и ему отдали деньги, он получил расчет. С этими деньгами он пришел домой и сказал маме: «Я уйду на фронт, мне ничего не нужно. Возьми эти деньги. Купите Кате новое пальто». А я, как только перешла в седьмой класс, стала старшеклассницей, мечтала, что мне сошьют синее бостонское пальто с серым каракулевым воротником. И он об этом знал.

Я до сих пор помню, что, уходя на фронт, брат дал деньги мне на пальто. А жили мы скромно, дырок в семейном бюджете хватало. Но мама купила бы мне это пальто, раз брат просил. Ничего она не успела.

Минск стали бомбить. Мы переселились с мамой в каменный погреб к соседям. У меня была любимая кошка, очень дикая, дальше двора никуда не ходила, но когда начинали бомбить, и я убегала со двора к соседям, кошка — следом за мной. Я ее гоню: «Иди домой!», а она — за мной. Она тоже боялась оставаться одна. Немецкие бомбы летели с каким-то звоном, с воем. Я была девочка музыкальная, на меня это сильно действовало. Эти звуки... Это так страшно, что у меня были мокрые ладошки. В погребе с нами сидел соседский четырехлетний мальчик, он не плакал. У него только глаза становились большими.

Сначала горели отдельные дома, потом загорелся город. Мы любим смотреть на огонь, на костер, но страшно, когда горит дом, а здесь огонь шел со всех сторон, небо и улицы застилал дым. И местами — сильное освещение... От огня... Помню три открытых окна в каком-то деревянном доме, на подоконниках роскошные филокактусы. Людей в этом доме уже нет, только кактусы

цветут... Было такое чувство, что это не красные цветы, а пламя. Цветы горят.

Мы бежали...

По дороге в деревнях нас кормили хлебом и молоком, больше ничего у людей не было. А мы — без денег. Я ушла из дома в платочке, а мама почему-то выбежала в зимнем пальто и в туфлях на высоких каблуках. Нас кормили так, даром, никто о деньгах и не заикался. Беженцы текли толпами.

Потом кто-то первый передал, что дорога впереди перерезана немецкими мотоциклистами. Мимо тех же деревень, мимо тех же теток с крынками молока мы бежали назад. Прибежали на нашу улицу... Еще несколько дней назад тут была зелень, тут были цветы, а сейчас все выжжено. Даже от столетних лип ничего не осталось. Все было выжжено до желтого песка. Куда-то исчез чернозем, на котором все росло, только желтый-желтый песок. Один песок. Будто стоишь возле свежевыкопанной могилы...

Остались заводские печи, они были белые, прокалились в сильном пламени. Больше ничего знакомого... Сгорела вся улица. Сгорели бабушки и дедушки и много маленьких детей, потому что они не убежали вместе со всеми, думали — их не тронут. Огонь никого не пощадил. Идешь — лежит черный труп, значит, старый человек сгорел. А увидишь издали что-то маленькое, розовое — значит, ребенок. Они лежали на углях розовые...

Мама сняла с себя платок и завязала мне глаза... Так мы дошли до нашего дома, до того места, где несколько дней назад стоял наш дом. Дома не было. Нас встретила чудом спасшаяся наша кошка. Она прижалась ко мне — и все. Никто не мог говорить... Даже кошка не мяукала. Несколько дней она молчала. Все онемели.

Увидела первых фашистов, даже не увидела, а услышала — у них у всех были подкованные сапоги, они громко стучали. Стучали по нашей мостовой. А мне казалось, что даже земле больно, когда они идут.

А сирень так цвела в том году... Черемуха так цвела...

«А Я ВСЕ РАВНО ХОЧУ МАМУ...»

Зина Косяк — 8 лет.

Сейчас — парикмахерша.

Первый класс...

Я окончила первый класс в мае сорок первого года, и родители отвезли меня на лето в пионерский лагерь Городище под Минском. Приехала, один раз искупалась, а через два дня — война. Нас посадили в поезд и повезли. Летали немецкие самолеты, а мы кричали: «Ура!». То, что это могут быть чужие самолеты, мы не понимали. Пока они не стали бомбить... Тогда исчезли все краски. Все цвета. Появилось впервые слово «смерть», все стали говорить это непонятное слово. А мамы и папы нет рядом.

Когда уезжали из лагеря, каждому в наволочку что-нибудь насыпали — кому крупу, кому сахар. Даже самых маленьких не обошли, всем давали что-то с собой. Хотели взять как можно больше продуктов в дорогу, и эти продукты очень берегли. Но в поезде мы увидели раненых солдат. Они стонали, им было так больно, хотелось отдать все этим солдатам. Это у нас называлось — «кормить пап». Всех военных мужчин мы называли папами.

Нам рассказали, что Минск горел, сгорел весь, там уже немцы, а мы едем в тыл. Едем туда, где нет войны.

Везли больше месяца. Направят в такой-то город, прибудем по адресу, а оставить нас не могут, потому что уже близко немцы. И доехали так до Мордовии.

Место очень красивое, там кругом стояли церкви. Дома низкие, а церкви высокие. Спать было не на чем, спали на соломе. Пришла зима, а у нас на четверых — одни ботинки. А потом начался голод. Голодал не только детдом, голодали и люди вокруг нас, потому что все отдавали фронту. В детдоме жило двести пятьдесят детей, и однажды — позвали на обед, а есть вообще нечего. Сидят в столовой воспитательницы и директор, смотрят на нас, и глаза у них полные слез. А была у нас лошадь Майка... Она была старая и очень ласковая, мы возили на ней воду. На следующий день убили эту Майку. И давали нам воду и такой маленький кусочек Майки... Но от нас это долго скрывали. Мы не могли бы ее есть... Ни за что! Это была единственная лошадь в нашем детдоме. И еще два голодных кота. Скелеты! Хорошо, думали мы потом, это счастье, что коты такие худые, нам не придется их есть. Есть там нечего.

Ходили мы с огромными животами, я, например, могла съесть ведро супа, потому что в этом супе ничего не было. Сколько мне будут наливать, столько я буду есть и есть. Спасала нас природа, мы были как жвачные животные. Весной вокруг детдома в радиусе нескольких километров не распускалось ни одно дерево... Мы съедали все почки, сдирали даже молодую кору. Ели траву, всю подряд ели. Нам дали бушлаты, и в этих бушлатах мы проделали карманы и носили с собой траву, носили и жевали. Лето нас спасало, а зимой становилось очень тяжело. Маленьких детей, нас было человек сорок, поселили отдельно. По ночам — рев. Звали маму и папу. Воспитатели и учителя старались не произносить при нас слово «мама». Они рассказывали нам сказки и подбирали такие книжки, чтобы там не было этого слова. Если кто-то вдруг произносил «мама», сразу начинался рев. Безутешный рев.

Учиться я опять пошла в первый класс. А получилось так: первый класс я окончила с похвальной грамотой, но когда мы приехали в детдом и у нас спросили, у кого

переекзаменовка, я сказала, что у меня, так как решила: переекзаменовка — это и есть похвальная грамота. В третьем классе я удрала из детдома. Пошла искать маму. Голодную и обессиленную, меня нашел в лесу дедушка Большаков. Узнал, что я из детдома, и забрал к себе в семью. Жили они вдвоем с бабушкой. Я окрепла и стала помогать им по хозяйству: траву собирала, картошку полола — все делала. Ели мы хлеб, но это был такой хлеб, что в нем было мало хлеба. Горький-горький. В муку намешивали все, что молось: лебеду, цветы ореха, картошку. Я до сих пор не могу спокойно смотреть на жирную траву и ем много хлеба. Никак не могу его наесться... За десятки лет...

Сколько я все-таки помню. Много еще помню...

Я помню сумасшедшую маленькую девочку, которая забиралась к кому-нибудь на огород, находила норку и сторожила возле нее мышку. Девочка хотела есть. Я помню ее лицо, даже сарафанчик, в котором она ходила. Однажды я подошла к ней, и она мне... рассказала... Про мышку... Мы вместе сидели и караулили эту мышку...

Всю войну я ждала, что, когда кончится война, мы запрежем с дедушкой лошадь и поедем искать маму. В дом заходили эвакуированные, я у всех спрашивала, не встречали ли они мою маму. Эвакуированных было много, так много, что в каждом доме стоял чугун теплой крапивы. Если люди зайдут, чтобы было им что-нибудь теплое похлебать. Больше нечего было дать. Но чугун крапивы стоял в каждом доме... Я это хорошо помню. Я эту крапиву собирала.

Война кончилась... Жду день, два, за мной никто не едет. Мама за мной не едет, а папа, я знала, в армии. Прождала я так две недели, больше ждать не было сил. Забралась в какой-то поезд под скамейку и поехала... Куда? Не знала. Я думала (это же детское сознание еще), что все поезда едут в Минск. А в Минске меня ждет — мама! Потом приедет наш папа... Герой! С орденами, с медалями.

Они пропали где-то под бомбежкой. Соседи потом рассказывали — поехали вдвоем искать меня. Побежали на станцию.

Мне уже пятьдесят один год, у меня есть свои дети. А я все равно хочу маму.

«ТАКИЕ КРАСИВЫЕ НЕМЕЦКИЕ ИГРУШКИ...»

Таиса Насветникова — 7 лет.

Сейчас — учительница.

Перед войной...

Как я себя помню... Все было хорошо: детский сад, утренники, наш двор. Девочки и мальчики. Я много читала, боялась червяков и любила собак. Жили мы в Витебске, папа работал в строительном управлении. С детства больше всего запомнила, как папа учил меня плавать в Двине.

А потом была школа. От школы у меня осталось такое впечатление: очень широкая лестница, стеклянная прозрачная стенка и очень много солнца, и очень много радости. Было такое ощущение, что жизнь — это праздник.

В первые же дни войны папа ушел на фронт. Я помню прощание на вокзале... Папа все время говорил маме, что они отгонят немцев, но хотел, чтобы мы эвакуировались. Мама не понимала: зачем? Если мы останемся дома, он найдет нас скорее. Сразу. А я все повторяла: «Папочка, миленький! Только возвращайся скорее. Папочка, миленький...».

Уехал папа, через несколько дней уехали и мы. По дороге нас все время бомбили, бомбить нас было легко, так как эшелоны в тыл шли через каждые пятьсот метров. Ехали мы налегке: у мамы было сатиновое платье в белый горошек, а у меня ситцевый красный сарафанчик с цветочками. Все взрослые говорили, что

уж очень красное видно сверху, и как только налет, все бросались по кустам, а меня, чем только можно было, накрывали, чтобы мой этот красный сарафанчик не был виден, а то я как фонарь.

Воду пили из болот и канав. Начались кишечные заболевания. Я тоже заболела. Трое суток не приходила в сознание... Потом мама рассказала, как меня спасли. Когда мы остановились в Брянске, на соседний путь подали воинский эшелон. Моей маме было двадцать шесть лет, она была очень красивая. Наш состав стоял долго. Она вышла из вагона, и какой-то офицер из того эшелона сказал ей комплимент. Мама попросила: «Отойдите, я не могу видеть вашу улыбку. У меня дочь умирает». Офицер оказался военным фельдшером. Он вскочил в вагон, осмотрел меня и позвал своего товарища: «Быстренько принеси чай, сухари и белладонну». Вот эти солдатские сухари... литровая бутылка крепкого чая и несколько таблеток белладонны спасли мне жизнь.

Пока мы ехали в Актюбинск, весь эшелон переболел. Нас, детей, не пускали туда, где лежали мертвые и убитые, нас ограждали от этой картины. Мы слышали только разговоры: там столько-то закопали в яму, там столько-то... Мама приходила с бледным-бледным лицом, руки у нее дрожали. А я все расспрашивала: «А куда делись эти люди?».

Никаких пейзажей не помню. И это очень удивительно, потому что я любила природу. Запоминались только те кусты, под которыми мы прятались. Овраги. Почему-то мне казалось, что нигде нет леса, мы едем только среди полей, среди какой-то пустыни. Однажды испытала такой страх, что после него уже никакой бомбежки не боялась. Нас не предупредили, что поезд стоит десять-пятнадцать минут. Коротко. Поезд пошел, а я осталась. Одна... Не помню, кто меня подхватил... Меня буквально вбросили в вагон... Но не в наш вагон, а в какой-то предпоследний. Тогда я впервые испугалась, что останусь одна, а мама уедет. Пока мама была рядом, ниче-

го не было страшно. А тут я онемела от страха. И пока мама ко мне не прибежала, не схватила в охапку, я была немая, никто от меня слова не мог добиться. Мама — это был мой мир. Моя планета. Если у меня даже что-то болело, возьмешься за мамину руку, и болеть перестает. Ночью я всегда спала рядышком с ней, чем теснее, тем меньше страха. Если мама близко, кажется, что у нас все — как раньше дома было. Закроешь глаза — никакой войны нет. Мама только не любила разговаривать о смерти. А я все время расспрашивала...

Из Актюбинска поехали в Магнитогорск, там жил папин родной брат. До войны у него была большая семья, много мужчин, а когда мы приехали, в доме жили одни женщины. Мужчины все ушли на войну. В конце сорок первого получили две похоронки — погибли дядины сыновья...

Из той зимы еще запомнилась ветрянка, которой мы переболели всей школой. И красные штаны... По карточкам мама получила отрез бордовой байки, из нее сшила мне штаны. И дети меня дразнили «Монах в красных штанах». Мне было очень обидно. Чуть позже получили по карточкам галоши, я их подвязывала и так бегала. Около косточек они натирали ранки, так все время приходилось под пятки что-то подкладывать, чтобы пятка стала выше и не было этих ран. Но зима была такая холодная, что у меня все время подмерзали руки и ноги. В школе часто ломалось отопление, в классах замерзала вода на полу, и мы катались между партами. Сидели в пальто, в рукавичках, только обрезали пальцы, чтобы можно было держать ручку. Помню, что нам нельзя было обижать и дразнить тех, у кого погибли папы. За это строго наказывали. А еще мы все много читали. Как никогда... Перечитали детскую библиотеку, юношескую. И нам стали давать взрослые книги. Другие девочки боялись... Даже мальчики не любили, пропускали те страницы, где писалось о смерти. А я читала.

Выпало много снега. Все дети выбегали на улицу и лепили снежную бабу. А я недоумевала: как можно лепить снежную бабу и радоваться, если война.

Взрослые слушали все время радио, без радио не могли жить. И мы тоже. Радовались каждому салюту в Москве, переживали каждое сообщение: как там на фронте? В подполье, в партизанах? Вышли фильмы о битве под Сталинградом и под Москвой, так мы по пятнадцать-двадцать раз их смотрели. Подряд три раза будут показывать, и мы будем три раза смотреть. Фильмы показывали в школе, специального кинозала не было, показывали в коридоре, а мы сидели на полу. По два-три часа сидели. Я запоминала смерть... Мама меня за это ругала. Советовалась с врачами, почему я такая... Почему меня интересуют такие недетские вещи, как смерть? Как научить меня думать о детском...

Я перечитала сказки... Детские сказки... Что я опять заметила? Я заметила, как много там убивают. Много крови. Это стало для меня открытием...

В конце сорок четвертого года... Я увидела первых пленных немцев... Они шли широкой колонной по улице. И меня поразило, что люди подходили к ним и давали хлеб. Меня это так поразило, что я побежала на работу к маме спросить: «Почему наши люди дают немцам хлеб?». Мама ничего не сказала, она только заплакала. Тогда же я увидела первого мертвого в немецкой форме, он шел-шел в колонне и упал. Колонна постояла и двинулась дальше, а возле него поставили нашего солдата. Я подбежала... Меня тянуло посмотреть на смерть вблизи, побыть рядом. Когда по радио объявляли о потерях противника, мы всегда радовались... А тут... Я увидела... Человек как будто спал... Он даже не лежал, а сидел, полускрючившись, голова немного на плече. Я не знала: ненавидеть мне его или жалеть? Это был враг. Наш враг! Не помню: молодой он или старый? Очень усталый. Из-за этого мне было трудно его ненавидеть. Я тоже маме об этом рассказала. И она опять плакала.

Девятого мая мы проснулись утром оттого, что в подъезде кто-то очень сильно кричал. Было еще совсем рано. Мама пошла узнать, что случилось, прибежала растерянная: «Победа! Неужели победа?». Это было так непривычно: война кончилась, такая долгая война. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то кричал... Плакали те, кто потерял близких, радовались оттого, что все-таки это — Победа! У кого-то была горстка крупы, у кого-то — картошка, у кого-то — свекла, — все сносили в одну квартиру. Я никогда не забуду этот день. Вот это утро... Даже к вечеру уже было не так...

В войну все почему-то говорили тихо, мне даже казалось, что шепотом, а тут все вдруг заговорили громко. Мы все время были рядом со взрослыми, нас угощали, нас ласкали и прогоняли: «Идите на улицу. Сегодня — праздник». И звали обратно. Нас никогда столько не обнимали и не целовали, как в этот день.

Но я — счастливый человек, у меня вернулся с войны папа. Папа привез красивые детские игрушки. Игрушки были немецкие. Я не могла понять, как могут быть такие красивые игрушки немецкими...

С папой я тоже попробовала заговорить о смерти. О бомбежках, когда мы с мамой эвакуировались... Как вдоль дороги по обе стороны лежали мертвые наши солдаты. Лица их были прикрыты ветками. Над ними жужжали мухи... Полчища мух... О мертвом немце... Рассказала про папу моей подружки, который вернулся с войны и через несколько дней умер. Умер от болезни сердца. Я не могла понять: как можно умереть после войны, когда все счастливы?

Папа молчал.

ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ НАШЕГО ДОМА...»

Миша Майоров — 5 лет.

Сейчас — кандидат сельскохозяйственных наук.

В войну я любил сны. Я любил сны о мирной жизни, о том, как мы жили до войны...

Первый сон...

Бабушка управилась по хозяйству... Я жду этого момента. Вот она отодвигает стол к окну, расстилает материал, накладывает на него вату, покрывает ее другим куском материала и начинает стегать одеяло. У меня тоже есть работа: с одной стороны одеяла бабушка вбивает гвоздики, к ним поочередно привязывает шпагат, который натирает мелком, а я натягиваю его с другой стороны. «Тяни, Мишенька, посильней», — просит бабушка. Я натягиваю — она отпускает: бах — и готова меловая полоска на красном или синем сатине. Полоски пересекаются, получаются ромбики, по ним побегут стежки черных ниток. Следующая операция: бабушка раскладывает бумажные выкройки (сейчас это называется трафаретом), и на смётанном одеяле появляется рисунок. Очень красиво и интересно. Моя бабушка мастерица и рубашки строчить, особенно воротники ей удаются. Ее ручная машинка «Зингер» работает и тогда, когда я уже сплю. И дедушка спит.

Второй сон...

Дедушка сапожничают. У меня и здесь есть дело — то-чить деревянные шпильки. Сейчас все подметки — на железных гвоздиках, но они ржавеют, и подметка быстро отваливается. Может, и тогда были уже в употреблении железные гвоздики, но я помню деревянные. Из ровной, без сучков чурки старой березы нужно было напилить кружки и оставить сохнуть под поветью, потом наколоть брусочки толщиной около трех сантиметров и длиной сантиметров десять и тоже просушить. С этих брусочков легко скалывались поперечные пластинки толщиной два-три миллиметра. Сапожный нож острый, и им легко срезать кромку у пластинки с двух сторон: упрешь ее в верстак — жик-жик, и пластинка острая, а затем уже коли гвоздики-шпильки. Дедушка наколюшкой (такое сапожное шило) накалывает отверстие в подметке сапога, вставляет шпильку, стук сапожным молотком! — и гвоздь в подметке. Шпильки набиваются в два ряда, это не только красиво, но и очень прочно: от влаги сухие березовые гвоздики только разбухнут и еще прочнее будут держать подметку, и она не отскочит, пока не износится.

А еще дедушка подшивает валенки, вернее, делает вторую подошву на валенках, они тогда дольше служат и можно в них ходить без галош. Или обшивает кожей задник валенка, чтобы в галошах тот скоро не протирался. Моя обязанность — сучить льняную нитку, смолить варом и вощить воском дратву, вдевать ее в иголку. Но сапожная штопальная игла — большая ценность, и поэтому дедушка чаще всего пользуется щетиной, самой обыкновенной щетиной с зашивка дикого кабана, можно и с домашнего, но та мягче. У дедушки такой щетины — целый пук. Ею можно и подошву пришить, и маленькую латочку в неудобном месте: щетинка гибкая и где угодно пролезет.

Третий сон...

Старшие ребята в соседском большом сарае организовали театр, идет представление о пограничниках

и шпионах. Билеты по десять копеек, а у меня нет гривенника, и меня не пускают, начинаю реветь: я тоже хочу «увидеть войну». Заглядываю тайком в сарай — «пограничники» там в настоящих гимнастерках. Спектакль потрясающий...

Дальше сны мои обрывались...

Скоро я увидел солдатские гимнастерки у нас дома... Бабушка кормила усталых и запыленных солдат, а они говорили: «Немец прет». Я стал приставать к бабушке: «А какие они, немцы?».

Грузим на телегу узлы, меня усаживают на них. Куда-то едем. Потом возвращаемся... У нас в доме — немцы! Они похожи на наших солдат, только в другой форме и веселые. Мы с бабушкой и мамой теперь живем за печкой, а дедушка — в сарае. Бабушка уже не стегает одеяла, дедушка не сапожничают. Один раз отодвигаю занавеску: в углу возле окна сидит немец в наушниках и крутит ручки рации, слышна музыка, потом четко по-русски... Другой немец в это время намазывал масло на хлеб, увидел меня и махнул ножом возле самого моего носа, я прячусь за занавеску и больше уже не вылезаю из-за печки.

По улице мимо нашего дома ведут человека в горелой гимнастерке, босиком, со связанными проволокой руками. Человек весь черный... Потом я видел его повешенным возле сельсовета. Говорили, что это наш летчик. Ночью он мне приснился. Во сне он висел у нас во дворе...

Все помнится в черном цвете: черные танки, черные мотоциклы, немецкие солдаты в черной форме. Я не уверен, что все это было на самом деле только черным, но я так запомнил. Черно-белая пленка...

...Меня закутывают во что-то и мы прячемся в болоте. Весь день и всю ночь. Ночь холодная. Кричат страшным голосом незнакомые птицы. Кажется, что луна светит ярко-ярко. Страх! А если нас увидят или услышат немецкие овчарки? Иногда долетал их хриплый лай. На-

утро — домой! Я хочу домой! Все хотят домой, в тепло! Но дома уже нет, только груда дымящихся головешек. Обгоревшее место... После большого костра... Находим в золе ком соли, который всегда у нас лежал на припечке. Аккуратно собрали соль, потом и глину, смешанную с солью, ссыпали ее в кувшин. Это все, что осталось от нашего дома...

Бабушка молчала, молчала, а ночью заголосила: «Ах, моя ты хатка! Ах, моя ты хатка! Тут я в девках гуляла-а-а-а... Сюда сваты приезжали-и-и-и... Тут детей народила-а-а-а-а...». Она ходила по нашему черному двору, как привидение.

Утром я открыл глаза — мы спим на земле. На нашем огороде.

уже забыла, но это была ее любимая шапочка. А как мы удирали на войну? Даже не помню на какую, наверное, в Испанию. Сейчас расскажу... Она осталась у меня ночевать, ну это, конечно, специально, а на рассвете мы вместе тихонько выбрались из дома. На цыпочках... Тс-тс... Захватили с собой какие-то продукты. А старший брат, видимо, уже следил, как мы последние дни шушукались, что-то пихали в мешочки. Во дворе догнал нас и вернул. Отругал и пригрозил, что выбросит из моей библиотеки все военные книжки. Весь день я плакала. Вот такие мы были!

А тут настоящая война...

Через неделю в Минск вошли немецкие войска. Самих немцев я не запомнила сразу, а запомнила их технику. Большие машины, большие мотоциклы... У нас таких не было, таких мы не видели. Люди онемели и оглохли. Ходили с испуганными глазами... На заборах и столбах появились чужие плакаты и листовки. Чужие приказы. Настал «новый порядок». Через какое-то время опять открылись школы. Мама решила, что война войной, а прерывать учебу не надо, все равно я должна учиться. На первом уроке географичка, та самая, которая нас учила и до войны, стала выступать против советской власти. Против Ленина. Я сказала себе: учиться в такой школе больше не буду. Не-е-е-ет... Не хочу! Пришла домой и поцеловала в учебнике все портреты... Все любимые портреты наших вождей.

Немцы врываются в квартиры, кого-то все время искали. То евреев, то партизан... Мама сказала: «Спрячь свой пионерский галстук». Днем я галстук прятала, а ночью, когда ложилась спать, надевала. Мама боялась: а если немцы постучат ночью? Уговаривала меня. Плакала. Я ждала, пока мама заснет, станет тихо дома и на улице. Тогда доставала из шкафа красный галстук, доставала советские книжки. А моя подружка спала в буденовке.

Мне и теперь нравится, что мы такие были...

«Я ИХ РУКАМИ СОБИРАЛА...

ОНИ БЕЛЫЕ-БЕЛЫЕ...»

|||||

Женя Селеня — 5 лет.

Сейчас — журналист.

В то воскресенье... Двадцать второго июня...

Пошли с братом за грибами. Уже было время толстых боровиков-колосовиков. Лесок наш небольшой, мы там знали каждый кустик, каждую полянку, где какие грибы растут, какие ягоды и даже цветы. Где иван-чай, а где желтый зверобой. Розовый вереск... Уже возвращались домой, когда услышали громовой гул. Гул шел с неба. Подняли головы: над нами штук двенадцать-пятнадцать самолетов... Они летели высоко, очень высоко, я подумал, что раньше наши самолеты так высоко не летали. Был слышен гул: у-у-у!

Тут же мы увидели нашу маму, она бежала к нам — плачущая, голос срывался. Таким и осталось впечатление от первого дня войны — мама не зовет ласково, как обычно, а кричит: «Дети! Мои дети!». У нее большие глаза, вместо лица — одни глаза...

Через два дня, наверное, к нам на хутор зашла группа красноармейцев. Запыленные, потные, с запекшимися губами, они жадно пили воду из колодца. И как же они ожили... Как просветлели их лица, когда в небе появилось четыре наших самолета. На них мы заметили такие четкие красные звезды. «Наши! Наши!» — кричали мы вместе с красноармейцами. Но вдруг откуда-то выныр-

нули маленькие черные самолеты, они крутились вокруг наших, что-то там трещало, гремело. Станный звук доходил до земли... Как будто кто-то рвет клеенку или полотно... Громко так. Я еще не знал, что так издали или с высоты трещат пулеметные очереди. За падающими нашими самолетами потянулись красные полосы огня и дыма. Бабах! Красноармейцы стояли и плакали, не стесняясь своих слез. Я первый раз видел... Первый раз... Чтобы красноармейцы плакали... В военных фильмах, которые я ходил смотреть в наш поселок, они никогда не плакали.

Еще через несколько дней... Из деревни Кабаки прибежала мамина сестра — тетя Катя. Черная, страшная. Она рассказала, что в их деревню приехали немцы, собрали активистов и вывели за околицу, там расстреляли из пулеметов. Среди расстрелянных был и мамин брат, депутат сельского Совета. Старый коммунист.

До сих пор помню слова тети Кати:

— Они ему разбили голову, и я руками мозги собирала. Они белые-белые.

Она жила у нас два дня. И все дни рассказывала... Повторяла... За эти два дня у нее побелела голова. И когда мама сидела рядом с тетей Катей, обнимала ее и плакала, я гладил ее по голове. Боялся.

Я боялся, что мама тоже станет белая...

11010101010001010000010000011140502110010100010100100

Мне никто не верит, даже мама не верила. Когда по-

Нет, я сам помню

Двигается бомбы, а я не

Сам помню

Моя оценка

Нот. а.сам

Увидел перрр

В все помню

В конце 1980-х годов

маю больше, чем взрослые, потому что я не плачу, а они плачут.

Война — это мой учебник истории. Мое одиночество... Я пропустил время детства, оно выпало из моей жизни. Я человек без детства, вместо детства у меня — война.

Так в жизни меня потрясла потом только любовь. Когда я влюбился... Узнал любовь...

«ЧЕРЕЗ ПЕТЕЛЬКУ ДЛЯ ПУГОВИЦЫ...»

Инна Левкевич — 10 лет.

Сейчас — инженер-строитель.

В первые же дни... С самого утра...

Над нами рвались бомбы... На земле лежали столбы и провода. Люди испуганные, все бежали из домов. Из своих домов все бежали на улицу, предупреждали друг друга: «Осторожно — провод! Осторожно — провод!», чтобы никто не зацепился, не упал. Как будто это было самое страшное.

Еще утром двадцать шестого июня мама выдавала зарплату, она работала бухгалтером на заводе, а вечером мы уже были беженцами. И когда уходили из Минска, то видели, как горела наша школа. Пламя бушевало в каждом окне. Так ярко... Так... Так сильно, до самого неба... Мы рыдали, что горит наша школа. Нас было четверо у мамы, трое шли пешком, а младшая «ехала» у мамы на руках. Мама еще волновалась, что ключ взяла с собой, а квартиру забыла закрыть. Она пыталась останавливать машины, кричала и просила: «Возьмите наших детей, а мы пойдем защищать город». Не хотела поверить, что немцы уже в городе. Город сдали.

Страшным и непонятным было все, что происходило на наших глазах. С нами. Особенно смерть... Возле убитых валялись чайники и кастрюли. Все горело... Казалось, что мы бежим по горящим уголькам... Я всегда дружила с мальчишками. Росла сорванцом. Мне было интересно посмотреть: как это летят бомбы, как это

они свистят и как они падают. Когда мама кричала: «Ложимся на землю!», я через петельку для пуговицы подглядывала... Что там на небе? И как люди бегут... На дереве что-то висит... Когда я поняла, что это что-то от человека на дереве висит, у меня был столбняк. Я закрыла глаза...

Сестре Ирме было семь лет, она несла примус и мамины туфли, страшно боялась потерять эти туфли. Туфли были новые, бледно-розового цвета, с граненым каблуком. Мама взяла их нечаянно, а может, потому что это была у нее самая красивая вещь.

И с ключом, и с туфлями мы скоро вернулись назад в город, где все сгорело. Скоро начали голодать. Собирали лебеду, ели лебеду. Ели какие-то засохшие цветы! Приближалась зима. Немцы сожгли большой колхозный сад за городом, боялись партизан, так все ходили и обрубали там пеньки, чтобы хоть немного принести дров. Нагреть дома печь. Из дрожжей делали печенку: жарили дрожжи на сковородке, и у них появлялся привкус печени. Мама дала мне деньги, чтобы я купила хлеба на рынке. А там старая женщина продавала козлят, и я вообразила, что спасу всю нашу семью, купив козленка. Козленок подрастет — и у нас будет много молока. И я купила козленка, заплатив за него все деньги, которые мне дали с собой. Я не помню, как мама меня ругала, помню только, что мы несколько дней сидели голодные: деньги кончились. Варили какую-то затирку, кормили ею козленка, я брала его с собой спать, чтобы ему было тепло, но он замерзал. И скоро умер. Это была трагедия. Мы очень плакали, не разрешали его уносить из дома. Сильнее всех плакала я, считая себя виноватой. Мама вынесла его ночью тихонько, а нам сказала, что козленка съели мыши.

Но в оккупации мы отмечали все майские и октябрьские праздники. Наши праздники! Наши! Обязательно пели песни, у нас вся семья певучая. Пусть это была картошка в мундире, иногда один кусочек сахара на всех, но в этот день старались что-то чуточку лучше пригото-

вить, пусть назавтра останемся голодными, но праздники мы все отмечали. Шепотом пели мамину любимую песню: «Утро красит нежным цветом стены древние Кремля...». Это обязательно.

Соседка напекла пирожков для продажи и предложила нам: «Возьмите у меня оптом, а продайте в розницу. Вы молодые, у вас ноги легкие». Я решила взяться за это дело, зная, как маме трудно одной прокормить нас. Принесла соседка эти пирожки, мы с сестрой Иrmой сидим и смотрим на них:

— Ирma, тебе не кажется, что этот пирожок больше того? — говорю я.

— Кажется...

Вы не представляете, как хотелось попробовать кусочек.

— Давай отрежем чуточку, а потом пойдем продавать.

Посидели так два часа, и нечего нести на рынок. Потом соседка начала варить подушечки, это такие конфеты, их давно уже нет почему-то в магазинах. Дала она нам продать эти подушечки. Опять мы с Иrmой сидим над ними:

— Одна подушечка большая, больше других. Давай, Ирma, немножко ее полижем.

— Давай...

У нас было одно пальто на троих, одни валенки. Мы часто сидели дома. Рассказывали друг другу сказки... Какие-то книжки... Но это было неинтересно. А интересно нам было мечтать, как кончится война и как мы станем жить после войны. Будем есть одни пирожки и конфеты.

Когда война кончилась, мама надела крепдешиновую кофточку. Как у нее осталась эта кофточка, я не помню. Все хорошие вещи мы сменяли на продукты. На этой кофточке были черные манжеты, мама спорола их, чтобы ничего не было мрачного, а только светлое.

Сразу мы пошли в школу и с первых дней стали разучивать песни для парада.

«ТОЛЬКО МАМИН КРИК СЛЫШАЛА...»

Лида Погоржельская — 8 лет.

Сейчас — кандидат биологических наук.

Всю жизнь вспоминаю этот день... Первый день без папы...

Хотелось спать. Мама подняла нас рано утром и сказала: «Война!». Какой уже сон? Стали собираться в дорогу. Еще страха не было. Все смотрели на папу, а папа наш вел себя спокойно. Как всегда. Он был партийный работник. Каждому, сказала мама, надо взять с собой что-нибудь. Я ничего не сообразила взять, а сестра младшая захватила куклу. Мама взяла на руки нашего маленького братика. Папа догнал нас уже в пути.

Я забыла сказать, что жили мы в городе Кобрине. Недалеко от Бреста. Вот почему война докатилась к нам в первый же день. Опомниться не успели. Взрослые почти не разговаривали, шли молча, ехали на конях молча. И становилось страшно. Идут и идут люди, много людей, и все молчат.

Когда папа нас догнал, мы немного успокоились. Папа у нас в семье во всем был главный, потому что мама очень молодая, она в шестнадцать лет вышла замуж. Она не умела даже готовить. А папа — сирота, он все умел. Я помню, как мы любили, когда у папы было время и он мог что-нибудь вкусное нам приготовить. Для всех — праздник. Мне и сейчас кажется, что нет ничего вкуснее манной каши, которую варил папа. Сколько мы ехали без него, столько мы его ждали. Остаться в войну

без папы — этого мы представить себе не могли. Такая у нас была семья.

Обоз получился большой. Двигался медленно. Иногда все останавливались и смотрели на небо. Искали глазами, где наши самолеты... Искали напрасно...

В середине дня увидели колонну каких-то военных. Они ехали на лошадях и были одеты в новенькую красноармейскую форму. Лошади сытые. Большие. Никто не догадался, что это диверсанты. Решили: наши! Обрадовались. Папа вышел к ним навстречу, и я услышала мамин крик. Выстрела я не слышала... Только мамин крик: «А-а-а... ы-ы-ы...». Я помню, что эти военные даже не слезли со своих лошадей... Когда мама закричала, я побежала. Все куда-то побежали. Бежали молча. Я слышала только, как наша мама кричит. Я бежала, пока не запуталась и не упала в высокой траве...

До вечера наши кони стояли. Ждали. А мы все вернулись на это место, когда темнеть начало. Мама одна там сидела и ждала. Кто-то произнес: «Вы посмотрите, она седая». Помню, как взрослые копали яму... Как потом нас с сестренкой подталкивали: «Идите. Попрощайтесь с отцом». Я ступила два шага, а дальше идти не смогла. Села на землю. А сестренка рядом со мной. Братик спал, он был совсем маленький, ничего не понимал. А мама наша лежала на телеге без сознания, нас к ней не пускали.

Так никто из нас и не видел папу мертвого. И не запомнил его мертвым. Я всегда, когда вспоминала его, почему-то вспоминала в белом кителе. Молодого и красивого. Даже сейчас, а сейчас я уже старше нашего папы.

В Сталинградской области, куда нас эвакуировали, мама работала в колхозе. Мама, которая ничего не умела, не знала, как полоть грядки, не отличала овес от пшеницы, стала ударницей. У нас не было папы, и у кого-то еще не было папы. У другого не было мамы. Или брата. Или сестры. Или дедушки. Но мы сиротами себя

не чувствовали. Нас жалели и растили все. Помню тетю Таню Морозову. У нее погибло двое детей, она жила одна. И она от себя отрывала все для нас, как наша мама. А это же был совершенно чужой человек, но за войну стал родной. Братик, когда подрос, говорил, что у нас нет папы, зато у нас две мамы: наша мама и тетя Таня. Так мы все и росли. С двумя, с тремя мамами.

Еще помню, как нас по дороге в эвакуацию бомбили, и мы бежали прятаться. Мы бежали прятаться не к маме, а к солдатам. Кончится бомбежка, мама нас ругает, что мы от нее убегаем. Но все равно, как снова начнут бомбить, бежим к солдатам.

Когда освободили Минск, решили возвращаться. Домой. В Беларусь. Мама наша — коренная минчанка, но когда мы вышли на минском вокзале, она не знала, куда идти. Это был другой город. Одни руины... Песок из камня...

Я уже училась в Горецкой сельхозакадемии... Жила в общежитии, жило нас в комнате восемь человек. Все — сироты. Никто нас отдельно не селил, не собирал — нас было много. Не одна комната. Помню, как мы ночью все кричали... Я могла сорваться с койки и стучать в дверь... Куда-то рвалась... Девочки меня ловили. Тогда я начинала плакать. И они следом. Всею комнатой ревом. А наутро надо идти на занятия и слушать лекции.

А однажды на улице встретила мужчину, похожего на папу. Долго шла за ним. Я же не видела папу мертвым...

[illegible]

Сейчас — музыкант.

Утреннее море. Синее и спокойное. Первые дни, как я приехал в детский санаторий Совет-Квадже на Черном море. Услышали гул самолетов... Я нырнул в волны, но и там, под водой, был слышен этот гул. Мы не испугались, а начали играть «в войну», не подозревая, что где-то уже идет война. Не игра, не военные учения, а война.

Все школы превратились в госпитали. В нашей семидесятой школе размещался армейский полевой госпиталь для легкораненых. Туда направили маму. Ей разрешали и меня брать с собой, чтобы не оставался один дома. А когда отступали — куда ехал госпиталь, туда ехали и мы.

41

В ноябре сорок второго... Начальник госпиталя приказал выдать мне форму, правда, ее пришлось срочно перешивать. А сапоги на меня не могли найти целый месяц. Так я стал воспитанником госпиталя. Солдатом. Что делал? Одни бинты могли свести с ума. Их всегда не хватало. Приходилось стирать, сушить, скручивать. Попробуйте скрутить тысячу штук в день! А я наловчился еще быстрее взрослых. Ловко получилась и первая самокрутка... В день моего двенадцатилетия старшина с улыбкой вручил мне пачку махорки, как полноправному бойцу. Покуривал. Тихонько от мамы. Воображал, конечно. Ну... и страшно... Я с трудом к крови привык. Боялся обожженных. С черными лицами...

Когда разбомбили вагоны с солью и парафином, и то и другое в дело пошло. Соль — поварам, парафин — мне. Пришлось овладеть специальностью, не предусмотренной никакими воинскими списками — делал свечи. Это похуже бинтов! Моя задача — следить, чтобы свечи долго горели, ими пользовались, когда не было электричества. Врачи не прекращали операции ни под бомбежкой, ни под обстрелом. Ночью только закрывали окна. Завешивали простынями. Одеждами.

Мама плакала, а я все равно мечтал сбежать на фронт. В то, что меня могут убить, не верил. Послали однажды за хлебом... Чуть проехали, начался артобстрел. Били из минометов. Сержанта убило, возницу убило, меня контузило. Потерял речь, а когда через какое-то время заговорил, все равно осталось заикание. Оно и сейчас у меня есть. Все удивлялись, что я остался живой, а у меня было другое чувство — разве меня могут убить? Как это меня могут убить? Проехали мы с госпиталем всю Беларусь, Польшу... Я выучил польские слова...

В Варшаве... Среди раненых оказался чех — тромбонист Пражской оперы. Начальник госпиталя обрадовался ему и, когда тот пошел на поправку, попросил пройти по палатам, поискать музыкантов. Оркестр получился отличный. Меня научили играть на альте, на гитаре на-

учился уже сам. Мы играли, а солдаты плакали. Играли мы веселые песни...

Так доехали до Германии...

В разбитом немецком поселке увидел: детский велосипед валяется. Обрадовался. Сел и поехал. Хорошо так идет! Я за войну ни одной детской вещи не видел. Забыл, что они где-то есть. Детские игрушки...

НАВЕРХУ... КАК БУДТО ЕЩЕ РАЗ УБИТЫЕ...»

Ваня Титов — 5 лет.

Сейчас — мелиоратор.

Черное небо...

Черные толстые самолеты... Они гудят низко. Над самой землей. Это — война. Как я ее помню... Помню отдельными проблесками...

Нас бомбили, а мы прятались в саду за старыми яблонями. Все пятеро. У меня было еще четверо братьев, самому старшему — десять лет. Он научил, как надо прятаться от самолетов — за большими яблонями, где много листьев. Мама собирала нас и вела в погреб. А в погребе страшно. Там жили крысы с маленькими сверлящими глазками, которые горели в темноте. Горели неестественным блеском. Еще крысы ночью повизгивали. Игрались.

Когда немецкие солдаты зашли в хату, мы спрятались на печке. Под старыми тряпками. Лежали с закрытыми глазами. От страха.

Сожгли нашу деревню. Разбомбили деревенское кладбище. Прибежали люди туда: покойники лежали наверху... Они лежали, как будто еще раз убитые... Наш дедушка лежал, который недавно умер. Их опять хоронили...

В войну мы играли «в войну». Когда надоедало «в белых и красных», «в Чапаева», играли «в русских и немцев». Воевали. Брали в плен. Расстреливали. Надевали

на головы солдатские каски, наши и немецкие, каски валялись всюду — в лесу, на полях. Никто не хотел быть немцем, из-за этого мы даже дрались. Играли в настоящих блиндажах и окопах. Сражались на палках, бросались в рукопашную. А матери ругали нас...

Мы удивлялись, потому что раньше... до войны... они нас за это не ругали...

У МЕНЯ ДРОЖАЛИ КОЛЕНКИ...»

Леня Хосеневич — 5 лет.

Сейчас — конструктор.

В моей памяти остался цвет...

Мне было пять лет, но я отлично помню... Дом своего деда — желтый, деревянный, за штакетником на траве бревна. Белый песок, в котором мы играли — как выстиранный. Белый-белый. Еще помню, как мама нас с сестричкой водила фотографироваться куда-то в город, и как Эллочка плакала, и я ее утешал. Фотография эта сохранилась, единственная наша довоенная фотография... Она почему-то запомнилась зеленой.

Потом все воспоминания в темном цвете... Если эти, первые, в светлом тоне — трава зеленая-зеленая, такая светлая акварель, и песок белый-белый, и штукатурник желтый-желтый... То потом все в темных красках: меня, задыхающегося от дыма, куда-то выносят, на улице — наши вещи, узлы, почему-то стоит один стул... Люди плачут. И мы с мамой долго идем по улицам, я держусь за юбку. Всем, кого мама встречает, она повторяет одну фразу: «У нас сгорел дом».

Ночевали в каком-то подъезде. Мне холодно. Грею руки в кармане маминой кофты. Нащупываю там что-то холодное. Это — ключ от нашего дома.

Вдруг — мамы нет. Мама исчезает, остаются бабушка и дедушка. У меня появился друг, на два года старше —

Женя Савочкин. Ему семь лет, мне — пять. Меня учат грамоте по книге сказок братьев Grimm. Учит бабушка по своей методике, от нее можно получить и обидный щелчок по лбу: «Эх, ты!». И учит Женя. Читая книгу, он показывает буквы. Но больше я люблю слушать сказки, особенно когда рассказывает бабушка. Ее голос похож на мамин. Однажды вечером приходит красивая женщина и приносит что-то очень вкусное. Я понимаю с ее слов, что мама жива, она, как и папа, воюет. Кричу счастливый: «Мама скоро вернется!». Хочу выскочить во двор и поделиться новостью со своим другом. Получаю от бабушки ремнем. За меня вступается дед. Когда они улеглись спать, я собрал все ремни в доме и забросил за шкаф.

Все время хочется есть. Ходим с Женей в рожь, она растет прямо за домами. Растираем колоски и жуем зернышки. А поле уже немецкое... и колоски немецкие... Увидели легковой автомобиль, удираем. Буквально из нашей калитки меня выдергивает офицер в зеленой форме с блестящими погонами и то ли бьет стеклом, то ли ремнем стегает. От страха окаменел — боли не чувствую. Вдруг вижу бабушку: «Паночек, миленький, отдай внука. Богом прошу, отдай!». Бабушка — перед офицером на коленях. Офицер уходит, я лежу в песке. Бабушка на руках несет меня в дом. Я с трудом шевелю губами. После этого долго болею.

Еще помню, что по улице едут подводы, много подвод. Дед с бабушкой открывают ворота. И у нас поселяются беженцы. Через некоторое время они заболевают тифом. Их забирают, как мне объясняют, в больницу. Еще через какое-то время заболевает дед. Сплю с ним. Худеет и еле ходит по комнате бабушка. Ухожу днем играть с мальчишками. Возвращаюсь вечером — ни деда, ни бабушки не нахожу дома. Соседи говорят, что их тоже отвезли в больницу. Мне страшно — я один. Я уже догадываюсь, что из той больницы, куда отвезли беженцев, а сейчас деда с бабушкой, не возвращаются.

Страшно жить одному в доме, ночью дом большой и незнакомый. Даже днем страшно. Меня забирает к себе дедушкин брат. У меня новый дедушка.

Минск бомбят, прячемся в погребе. Когда я выхожу оттуда на свет, глаза слепит солнце, и я глохну от рокота моторов. По улице идут танки. Прячусь за столб. Вдруг вижу — на башне красная звезда. Наши! Сразу бегу к нашему дому: раз пришли наши, значит, и мама пришла! Подхожу к дому — возле крыльца стоят какие-то женщины с винтовками, они подхватывают меня на руки и начинают расспрашивать. Одна из них чем-то мне знакома. Кого-то напоминает. Она подходит ко мне ближе, обнимает. Остальные женщины начинают плакать. Я как заорю: «Мама!». Как куда-то провалился потом...

Скоро мама привезла из детского дома сестричку, и та меня не признавала — забыла совсем. За войну забыла. А я так был рад, что у меня снова есть сестричка.

Пришел из школы и обнаружил спящим на диване вернувшегося с войны отца. Он спал, а я вынул у него из планшета документы и прочел. И понял — это отец. Я сидел и смотрел на него, пока он не проснулся.

У меня все время дрожали коленки...

«ЗАКРОЙ ГЛАЗА, СЫНОК... НЕ СМОТРИ...»

Володя Парабкович — 12 лет.

Сейчас — персональный пенсионер.

Я рос без мамы...

Никогда не помню себя маленьким... Мама моя умерла, когда мне было семь лет. Жил у тети. Пас коров, заготавливал дрова, гонял лошадей в ночное. Хватало дел и на огороде. Зато зимой катались на деревянных санках и самодельных коньках, тоже деревянных, подбитых железками и подвязанных к лаптям веревками, ходили на лыжах из досок и клепок развалившихся бочек. Все делал себе сам.

До сих пор помню, как я надел первые свои ботинки, купленные отцом. И какое было горе, когда поцарапал их сучком в лесу. Мне так их было жалко, что я думал: лучше бы порезал ногу — зажила бы. В этих же ботинках я уходил с отцом из Орши, когда город бомбили фашистские самолеты.

За городом они нас расстреливали в упор. Люди падали на землю... В песок, в траву... «Закрой глаза, сынок... Не смотри...» — просил отец. Я боялся смотреть и на небо — там было черно от самолетов, и на землю — везде лежали убитые. Близко пролетел самолет... Отец тоже упал и не поднялся. Я сидел над ним: «Папа, открой глаза... Папа, открой глаза...». Какие-то люди кричали: «Немцы!» — и тянули меня за собой. А до меня не доходило, что отец больше не встанет, и вот так в пыли, на дороге, я его должен бросить. На нем нигде не было

крови, он просто молча лежал. Меня от него оттянули силой, но много дней я шел и оглядывался, ждал — отец меня догонит. Просыпался ночью, просыпался от его голоса... Я не мог поверить, что отца больше у меня нет. Так остался я один и в одном суконном костюме.

После долгих скитаний... Ехал на поезде, шел пешком... Забрали меня в детский дом города Мелекесса Куйбышевской области. Несколько раз пытался удрать на фронт, но каждый раз это оканчивалось неудачей. Ловили и возвращали. И, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В лесу, при заготовке дров, я не удержал топор, он отскочил от дерева и угодил мне по пальцу правой руки. Воспитательница перевязала меня своей косынкой и отправила в городскую поликлинику.

На обратном пути в детдом с Сашей Ляпиным, которого отправили вместе со мной, около горкома комсомола мы заметили моряка в бескозырке с ленточками, он приклеивал на доске объявление. Подошли ближе и увидели, что это правила приема в школу юнг Военно-Морского Флота на Соловецких островах. Школа юнг комплектовалась только добровольцами. Преимущество в наборе предоставлялось детям моряков и воспитанникам детских домов. Как сейчас слышу голос этого моряка:

— Ну что, хотите быть моряками?

Ответили ему:

— Мы из детского дома.

— Тогда заходите в горком и пишите заявление.

Не передать восторг, который охватил нас в тот момент. Ведь это был прямой путь на фронт. А я уже не верил, что смогу отомстить за отца! Успею на войну.

Зашли в горком комсомола и написали заявление. Через несколько дней мы уже проходили медицинскую комиссию. Один из членов комиссии посмотрел на меня:

— Очень он худенький и маленький.

А другой, в офицерской форме, вздохнул:

— Ничего, подрастет.

Нас переодели, с трудом подбирая нужные размеры. Увидев себя в зеркале в морской форме, в бескозырке, я был счастлив. Еще через сутки мы уже плыли на пароходе к Соловецким островам.

Все ново. Непривычно. Глубокая ночь... Стоим на палубе... Моряки гонят нас спать:

— Шли бы вы, ребята, в кубрик. Там тепло.

Ранним утром увидели монастырь, блесевший на солнце, и золотившийся лес. Это и были Соловецкие острова, где открывалась первая в стране школа юнг Военно-Морского Флота. Но прежде чем приступить к занятиям, мы должны были построить школу, а точнее — землянки. Соловецкая земля — сплошной камень. Не хватало пил, топоров, лопат. Научились делать все вручную: копать тяжелый грунт, спиливать вековые деревья, корчевать пни, плотничать. После работы шли отдыхать в холодные палатки, постелью были матрацы и наволочки, набитые травой, под ними лежали хвойные лапки. Накрывались шинелями. Стирали сами, вода со льдом... Плакали — так ныли руки.

В сорок втором году... Приняли воинскую присягу. Нам выдали бескозырки с надписью «Школа юнг ВМФ», но, к нашему сожалению, не с длинными концами на плечах, а с бантиком на правой стороне. Вручили винтовки. В начале сорок третьего... Я попал для прохождения службы на гвардейский эсминец «Сообразительный». Для меня все было впервые: гребни волн, в которые зарывался носом корабль, «фосфорная» дорожка от гребных винтов... Перехватывало дыхание...

— Страшно, сынок? — спросил командир.

— Нет, — не задумался я ни на секунду. — Красиво!

— Если бы не война, было бы красиво, — сказал командир и почему-то отвернулся.

Мне было четырнадцать лет...

[illegible]

Сейчас — учитель физкультуры.

Вечером к старшей сестре приходил жених свататься. Все до ночи обсуждали, когда свадьба, где молодые будут расписываться, сколько позвать гостей. А с самого утра отца вызвали в военкомат. Уже по деревне зашумели — война! Мама растерялась: как быть? Я только об одном думала: пережить бы этот день. Мне еще никто не объяснил, что война — это не день и не два, а это может быть очень долго.

И вот лето, жаркий день. Хочется пойти на речку, а мама нас собирает в дорогу. У нас был еще брат, его только забрали из больницы, там ему сделали операцию на ноге, и он вернулся на костылях. Но мама сказала: «Надо идти всем». Куда? Никто ничего не знал. Прошли километров пять. Брат хромал и плакал. Ну куда с ним? Повернули назад. Дома нас ждал отец. Мужчины, которые утром ушли в военкомат, все вернулись, немцы уже заняли наш райцентр. Город Слуцк.

Летели первые бомбы — я стояла и следила за ними, пока они на землю не падали. Кто-то подсказал, что надо открывать рот, чтобы не оглушило. И вот открываешь рот, закрываешь уши и все равно слышишь, как они летят. Завывают. Это так страшно, что кожа не только на лице, на всем теле натягивается. Висело у нас на дворе ведро. Когда все утихло, сняли его: насчитали пятьде-

сят восемь пробоин. Ведро белое, сверху им показалось, что это кто-то стоит в белом платочке, и они стреляли... Развлекались...

Первые немцы въехали в деревню на больших машинах, украшенных березовыми ветками. Так у нас, когда свадьбу играли, украшали. Наломают-наломают березовых веток... Мы разглядывали их через плетень, тогда заборов не было, а плетни. Из лозы. Присматривались... На обыкновенных людей вроде похожи... Я хотела увидеть, какие у них головы? Почему-то у меня было такое представление, что у них нечеловеческие головы... Уже ходили слухи, что они убивают. Жгут. А они едут, смеются. Довольные, загорелые.

Утром делали физзарядку во дворе школы. Обливались холодной водой. Закатают рукава, сядут на мотоциклы — и поехали.

За несколько дней за деревней возле молокозавода вырыли большую яму, и каждый день в пять-шесть утра оттуда доносились выстрелы. Как начнут там стрелять, даже петухи перестают петь, прячутся. Едем мы с отцом под вечер на подводе, он придержал коня недалеко от той ямы. «Пойду, — говорит, — погляжу». Там и его двоюродную сестру расстреляли. Он идет, а я за ним.

Вдруг отец поворачивается, закрывает от меня яму: «Вернись. Тебе дальше нельзя». Я только увидела, когда переступала ручей, что вода в нем красная... И как вороны поднялись. Их было так много, что я закричала... А отец после этого несколько дней ничего есть не мог. Увидит ворону и в хату бежит, трясется весь... В лихорадке...

В Слуцке в парке повесили две партизанские семьи. Стояли большие морозы, повешенные были такие замерзшие, что когда их качало ветром, они звенели. Звенели, как замерзшие деревья в лесу... Звон этот...

Когда нас освободили, отец ушел на фронт. Ушел с армией. Уже без него мне сшили первое платье за войну. Сшила его мама из портянок, они были белые, она их

покрасила чернилами. На один рукав чернил не хватило. А мне хотелось показать подружкам новое платье. И я стояла в калитке боком, то есть хороший рукав показывала, а плохой прятала к дому. Мне казалось, что я такая нарядная, такая красивая!

В школе впереди меня сидела девочка Аня. У нее погибли отец с матерью, она жила с бабушкой. Они были беженцы, из-под Смоленска. Школа ей купила пальто, валенки и блестящие галоши. Учительница принесла и положила все это ей на парту. А мы сидели притихшие, потому что ни у кого из нас не было ни таких валенок, ни такого пальто. Мы завидовали. Кто-то из мальчишек толкнул Аню и сказал: «Повезло как!». Она упала на парту и заплакала. Плакала навзрыд все четыре урока.

Вернулся с фронта отец, все пришли посмотреть на нашего папу. И на нас, потому что к нам вернулся папа.

Первой пришла эта девочка...

000

Сейчас — секретарь-машинистка.

Мы спим, а наш пионерский лагерь бомбят. Выскочили из палаток, бегаем и кричим: «Мама! Мама!». Меня воспитательница за плечи трясет, чтобы успокоилась, а я кричу: «Мама! Где моя мама?». Пока она меня к себе не прижала: «Я — твоя мама».

И тут у меня провал в памяти...

Иду из столовой, дети все кричат: «Приехала твоя мама!». У меня в ушах: «Твоя ма-а-а-ма... Твоя ма-а-а-ма...». Мама мне снилась каждую ночь. Моя настоящая мама. И вдруг — она наяву, но мне казалось, что это во сне. Вижу — мама! И не верю. Несколько дней меня

уговаривали, а я боялась к маме подходить. Вдруг это сон? Сон! Мама плачет, а я кричу: «Не подходи! Мою маму убили». Я боялась... Я боялась поверить в свое счастье...

Я и сейчас... Всю жизнь плачу в счастливые моменты своей жизни. Обливаюсь слезами. Всю жизнь... Мой муж... Мы живем с ним в любви много лет. Когда он сделал мне предложение: «Я тебя люблю. Давай поженимся». Я — в слезы. Он испугался: «Я тебя обидел?» — «Нет! Нет! Я — счастливая!» Но я никогда не могу быть до конца счастливой. Совсем счастливой. Не получается у меня счастье. Боюсь счастья. Мне всегда кажется, что оно вот-вот кончится. Во мне всегда живет это «вот-вот». Тот детский страх...

000

Сейчас — разнорабочая.

Умер отец. У мамы осталось семеро детей на руках. Жили мы бедно. Трудно. Но потом, в войну, она казалась счастьем, эта мирная жизнь.

Мы ели... воду... Придет время обеда, мама ставит на стол кастрюлю горячей воды. И мы ее разливаем по мискам. Вечер. Ужин. На столе кастрюля горячей воды. Белой горячей воды, зимой и закрасить ее нечем. Даже травы нет.

Все время ждали наших...

Когда стали бомбить наши самолеты, я не побежала прятаться, а помчалась смотреть на наши бомбы. Нашла осколок...

— И где это тебя носит? — встречает дома испуганная мать. — Что ты там прячешь?

— А я не прячу. Я принесла осколок.

— Вот убьет, будешь знать.

— Что ты, мама! Ведь это от нашей бомбы осколок. Разве он мог меня убить?

Я его долго хранила...

[illegible]

Нет! Мы никогда не поем, никогда. Тогда мне бы

Не везати все-таки пришлось. Ударило же поглотили

Не пошла с нами только средняя сестра – она была

Делали разную деревенскую работу, хотя самые что ни на есть городские люди. Но работали хорошо. Старшая сестра, которая до войны работала судьей, выучилась на трактористку. Но вскоре начали бомбить Харьков, и мы поехали дальше.

Уже в дороге узнали, что везут нас в Казахстан. В одном вагоне с нами ехало семей десять, у одних была беременная дочь. Стали бомбить поезд, налетели самолеты, никто не успел выскочить из вагона. Тут мы слышим крик: у беременной оторвало ногу. Этот ужас до сих пор сидит у меня в памяти. Женщина начала рожать... И родной отец стал принимать роды. И все это на виду у всех. Грохот. Кровь, грязь. Ребенок рождается...

Выехали мы из-под Харькова летом, а на конечную нашу станцию приехали к зиме. Приехали в казахские степи. Долго не могла привыкнуть, что нас не бомбят, не обстреливают. И был у нас еще один враг — вши! Огромные, средние, маленькие! Черные! Серые! Всякие. Но одинаково безжалостные, не дающие покоя ни днем, ни ночью. Нет, вру! Когда поезд двигался, они нас не так кусали. Вели себя более-менее смирно. Но как только мы входили в дом... Боже мой, что они начинали вытворять... Боже мой! Вся спина и руки у меня были изъедены, в нарывах. Когда я снимала кофточку, мне становилось легче, но у меня больше нечего было надеть. Все равно пришлось кофточку сжечь, такая она была вшивая, и я накрывалась газетой, ходила одетая в газету. У меня кофточка была из газеты. Отмывала нас хозяйка такой горячей водой, что если бы я сейчас помылась такой водой, то у меня бы разлезлась кожа. А тогда... Это такое счастье — теплая вода. Горячая!

Мать наша была прекрасная хозяйка, прекрасная кулинарка. Только она могла так приготовить суслика, что его можно было есть, хотя мясо суслика считается не очень съедобным. Лежит суслик на столе... От него на версту противный запах, неповторимо противный

запах. А другого мяса никакого нет, и ничего у нас нет. И мы едим этих сусликов...

Жила рядом с нами очень хорошая, добрая женщина. Она видела все наши страдания и сказала маме: «Пусть ваша дочь помогает мне по хозяйству». Уж очень я была хилая. Ушла она в поле, а меня оставила с внуком, показала, что где лежит, чтобы я его накормила и сама поела. Я подойду к столу, посмотрю на еду, а братъ боюсь. Мне казалось, что если я возьму что-нибудь, то все сразу исчезнет, что это сон. Не то что есть, я даже пальцем боялась крошечку тронуть — только бы все это не перестало существовать. Я лучше буду смотреть, долго буду смотреть. То сбоку, то сзади подойду. Глаза боялась закрыть. Так за весь день в рот ничего не взяла. А у этой женщины были корова, овцы, куры. И она оставила мне масло, яйца...

Пришла хозяйка вечером, спрашивает:

— Ела?

Отвечаю:

— Ела...

— Ну, иди тогда домой. А это маме отнеси. — И дает мне хлебушка. — А завтра снова приходи.

Пришла я домой, и эта женщина — сразу за мной. Я испугалась: не пропало ли чего? А она целует меня и плачет:

— Что же ты, дурочка, ничегошеньки не ела? Почему все на месте лежит? — И гладит, гладит меня по голове.

Зимы в Казахстане суровые. Топить печь нечем. Спасал коровий навоз. Раненько утром встаешь и ждешь, когда коровы выйдут со двора, подставляешь ведро. Бегаешь от коровы к корове. Да я ведь и не одна, все эвакуированные здесь. Наберешь полное ведро, выльешь возле своего дома и быстрее назад. Потом все это перемешивалось с соломой, высушивалось, и получались такие черные лепехи. Кизяки. Этим мы отапливались.

Умер папа. Наверное, у него разорвалось от жалости к нам сердце. Оно давно у него было больное.

Меня взяли в ремесленное училище. Выдали форму: пальто, обувь, и — хлебную карточку. Я ходила раньше стриженная, а тут у меня уже отросли волосы, я заплетала косички. Мне вручают комсомольский билет. Сфотографировали для газеты. Несла билет в руках, а не в кармане. Такая драгоценность... Боялась в карман положить, вдруг потеряю. Сердце билось: тук-тук-тук. Вот бы папа меня увидел сейчас, какой бы он был счастливый.

Сейчас думаю: «Какое страшное время, но какие замечательные были люди». Удивляюсь, какие мы были тогда! Как верили! Не хочется это забывать... Я давно не верю в Сталина, в коммунистические идеи. Эту часть своей жизни я хотела бы забыть, но я храню в сердце те переживания. Ту высоту. Я не хочу забывать свои чувства. Драгоценные...

Дома в тот вечер мама приготовила настоящий чай, с заваркой. А как же, такой праздник! А мне дала — как имениннице — добавку — еще пол-ложечки сахара...

«ДОМИК, НЕ ГОРИ! ДОМИК, НЕ ГОРИ!...»

Нина Рачицкая — 7 лет.

Сейчас — рабочая.

Иногда — очень ярко... Все возвращается...

Как немцы приехали на мотоциклах... У каждого было ведро, и они тарахтели этими ведрами. А мы спрятались... У меня еще было два маленьких братика — четыре и два года. Мы с ними спрятались под кровать и весь день просидели там.

Я очень удивилась, что молодой фашистский офицер, который стал жить у нас, был в очках. А я себе представляла, что в очках ходят только учителя. Он жил с денщиком в одной половине дома, а мы — в другой. Братик, самый маленький у нас, простыл и сильно кашлял. У него была большая температура, он весь горел, плакал ночами. Наутро офицер заходит на нашу половину и говорит маме, что если киндер будет плакать, не давать ему спать по ночам, то он его «пуф-пуф» — и показывает на свой пистолет. Ночью, как только брат закашляет или заплачет, мать хватает его в одеяло, бежит на улицу и там качает, пока он не заснет или не успокоится. Пуф-пуф...

Забрали у нас все, мы голодали. На кухню не пускали, варили они там только себе. Брат маленький, он слышал запах и пополз по полу на этот запах. А они каждый день варили гороховый суп, очень слышно, как пахнет этот суп. Через пять минут раздался крик моего брата, страшный визг. Его облили кипятком на кухне, обли-

ли за то, что он просил есть. А он был такой голодный, что просил маму: «Давай сварим моего утенка». Утенок у него был самой любимой игрушкой, он никому его раньше в руки не давал. Спал с ним.

Наши детские разговоры...

Сядем и рассуждаем: если словить мышь (а их в войну развелось много — и в доме, и в поле), можно ли ее съесть? Едят ли синичек? Едят ли сорок? Почему мама не сварит суп из жирных жуков?

Не давали вырасти картошке, лазили в землю руками и проверяли: большая она или маленькая? И почему все так медленно растет: и кукуруза, и подсолнухи...

В последний день... Перед своим отступлением немцы подожгли наш дом. Мама стояла, смотрела на огонь, и у нее ни слезинки на лице. А мы втроем бегали и кричали: «Домик, не гори! Домик, не гори!». Вынести из дома ничего не успели, я только схватила свой букварь. Всю войну я спасала его, берегла. Спала с ним, он у меня всегда под подушкой. Очень хотела учиться. Потом, когда мы в сорок четвертом году пошли в первый класс, мой букварь был один на тринадцать человек. На весь класс.

Остался в памяти первый послевоенный концерт в школе. Как пели, как танцевали... Я отбила ладошки. Хлопала и хлопала. Мне было весело, пока какой-то мальчик не вышел на сцену и не стал читать стихотворение. Он читал громко, стихотворение было длинное, но я услышала одно слово — «война». Оглядываюсь: все сидят спокойно. А у меня страх — только война кончилась и опять война? Я это слово слышать не могла. Срываюсь и бегу домой. Прибегаю, мама что-то варит на кухне: значит, никакой войны нет. Тогда я — назад, в школу. На концерт. Опять хлопаю.

Папа наш с войны не вернулся, маме прислали бумажку, что он пропал без вести. Уйдет мама на работу, мы соберемся втроем и плачем, что папы нет. Перевернули дом, искали бумажку, где было про папу. Думали:

там не написано, что папа убит, там написано — папа пропал без вести. Порвем эту бумажку, и придет весть, где наш папа. Но мы бумажку не нашли. А когда пришла с работы мама, она не могла понять, почему в доме такой беспорядок. Она спросила у меня: «Что вы здесь делали?». За меня ответил младший брат: «Папу искали...».

До войны любила, когда папа рассказывал сказки, он знал много сказок и умел их рассказывать. После войны сказки я уже не хотела читать...

КАК МАМА...»

Саша Суетин — 4 года.

Сейчас — слесарь.

Помню только маму...

Первая картинка...

Мама всегда в белом халате... Отец — офицер, мама работала в госпитале. Это потом уже старший брат мне рассказал. А я помню только белый мамин халат. Даже лица не помню, один белый халат... И еще — белую шапочку, она всегда стояла на маленьком столике, именно стояла, а не лежала, такая накрахмаленная.

Вторая картинка...

Мама не пришла... К тому, что папа часто не приходил, я привык, а мама раньше возвращалась домой всегда. Мы с братом одни сидим несколько дней в квартире, никуда не выходим: а вдруг появится мама? Стучат чужие люди, одевают и куда-то ведут нас. Я плачу:

— Мама! Где моя мама?

— Не плачь, мама нас найдет, — утешает меня братишка, он старше меня на три года.

Мы оказываемся в каком-то длинном то ли доме, то ли сарае, на нарах. Все время хочется есть, я сосу пуговицы на рубашке, они похожи на леденцы, которые привозил из командировок отец. Я жду маму.

Третья картинка...

Какой-то мужчина запикивает нас с братом в угол нар, накрывает одеялом, забрасывает тряпками. Начиная плакать, он гладит меня по голове. Я успокаиваюсь.

И так повторяется каждый день. Но однажды мне надоедает долго сидеть под одеялом. Начинаю тихо, а потом громко плакать. Кто-то сбрасывает с меня и брата тряпки, стягивает одеяло. Открываю глаза — возле нас стоит женщина в белом халате:

— Мама! — ползу к ней.

Она тоже гладит меня. Сначала по голове... потом по руке... Затем берет что-то из металлической коробочки. Но я не обращаю на это никакого внимания, я вижу только белый халат и белую шапочку.

Вдруг! — острая боль в руке. У меня под кожей иголка. Не успеваю накричаться, как теряю сознание. Прихожу в себя — надо мной сидит тот самый мужчина, который нас прятал. Рядом лежит брат.

— Не пугайся, — говорит мужчина. — Он не мертвый, он спит.

— Это была не мама?

— Нет...

— Она пришла в белом халате, как мама... — повторяю и повторяю я.

— Я сделал тебе игрушку, — мужчина протягивает мне тряпичный мячик.

Беру игрушку и перестаю плакать.

Дальше ничего не помню: кто и как нас спасал в немецком концлагере? У детей там брали кровь для раненых немецких солдат. Дети все умирали. Как оказались мы с братом в детдоме? И как конце войны получили извещение, что родители наши погибли? Что-то случилось с моей памятью. Не помню лиц, не помню слов...

Кончилась война. Я пошел в первый класс. Другие два-три раза прочтут стихотворение — и запомнили. А я десять раз прочту и не запоминаю. Но двойки мне учителя почему-то не ставили. Другим ставили, а мне нет.

Вот моя история...

детей своих ведет. Одного возьмет на руки, пронесет, этого поставит — другого берет. Сели они на скамеечку, и она посадила меньшего к себе на колени. Я стояла, стояла. Смотрела, смотрела. Подхожу к ним: «Тетенька, возьмите меня на колени». Она удивилась.

Я опять ее попросила: «Тетенька, ну пожалуйста...».

[illegible]

Сейчас — инженер-механик.

Не так по моему детскому сознанию ударило слово «война», как напугало слово «самолеты». «Самолеты!» — и мать нас сгребает с печи. А мы боимся с печи слезать, боимся из хаты выходить, пока она одного снимет, другой назад лезет. Нас — пятеро. И еще — любимая кошка.

Меньших братиков... их мама рушниками к себе привязывала, а мы, старшие сами бежали. Когда ты маленький... Ты живешь в другом мире, ты не смотришь с высоты, а живешь близко к земле. Там самолеты еще страшнее, там бомбы еще страшнее. Я помню, как завидовал жучкам: они такие маленькие, что всегда могут где-нибудь скрыться, в землю заползут... Мне представлялось, что, когда я умру, то стану каким-нибудь зверем, убегу в лес.

Двоюродная моя сестра, ей было десять лет, несла нашего братика трех лет. Бежала-бежала, сил не хватило, и она упала. И пролежали они в снегу всю ночь, и он замерз, а она жить осталась. Выкопали ямку его похоронить, она не дает: «Мишенька, не умирай! Зачем ты умираешь?».

Убежали мы от немцев и жили в болоте... на островках... Курени себе построили и в них жили. Курени — это такие шалашики: одни голые бревна и дырка вверху. Для дыма. А внизу — земля. Вода. И зимой, и летом там жили. На сосновых ветках спали. Вернулись раз с мамой из леса в деревню, хотели что-нибудь в своей хате взять. Там — немцы. Кто пришел, всех согнали в школу. Поставили на колени и направили на нас пулеметы. И мы, дети, одного роста с пулеметами.

Слышим: в лесу стреляют. Немцы: «Партизаны! Партизаны!» — и к машинам. Быстро уехали. А мы — в лес.

После войны я боялся железа. Лежит осколок, а у меня страх, что он еще раз взорвется. Соседская девочка — три года и два месяца... Я запомнил... Мама ее над гробом повторяла: «Три года и два месяца... Три года и два месяца...». Она нашла «лимонку». И стала качать, как куклу. В тряпки завернула и качает... Граната маленькая, как игрушка, только тяжелая. Мать добежать не успела...

После войны в нашей деревне Старые Головчицы Петриковского района еще два года хоронили детей. Военное железо валялось всюду. Подбитые черные танки, бронетранспортеры. Куски мин, бомб... А у нас же игрушек не было... Потом все это начали собирать и отправлять куда-то на заводы. Мама объяснила, что из этого железа начнут отливать трактора. Станки и швейные машинки. Если я видел новый трактор, я не подходил к нему, ждал, что он взорвется. И станет черным, как танк...

Я знал, из какого он железа...

«МНЕ УЖЕ БУКВАРЬ КУПИЛИ...»

Лиля Мельникова — 7 лет.

Сейчас — учительница.

Я должна была пойти в первый класс...

Мне уже букварь купили и портфель. Я самая старшая. Сестре Рае было пять лет, а нашей Томочке — три года. Жили мы в Россонах, отец наш работал директором лесхоза, но за год до войны он умер. Жили мы с мамой.

В тот день, когда к нам докатилась война, мы все трое были в детском саду, и самая маленькая — тоже. И вот всех детей разобрали, а мы остались, за нами никто не приходит. Нам страшно. Мама прибежала последняя. Она работала в лесхозе, они сжигали какие-то бумаги, закапывали. И она задержалась.

Мама сказала, что будем эвакуироваться, нам дали подводу. Надо было взять с собой самые необходимые вещи. Помню, что в коридоре стояла корзина, поставили мы эту корзину на телегу, сестричка взяла свою куклу. Мама хотела куклу оставить... Кукла была большая... Сестра стала плакать: «Я ее не оставлю!». Выехали за Россоны, и перевернулась наша телега, раскрылась корзина, и оттуда посыпалась обувь. Оказалось, что мы ничего не взяли с собой: ни поесть, ни смены одежды. Мама растерялась и перепутала корзины, взяла ту, в которую собирала обувь для починки.

Не успели мы собрать эту обувь, как налетели самолеты и стали бомбить, обстреливать из пулеметов. Ку-

клу нашу продырявили насквозь, а сестричка осталась совершенно целой, даже без царапины. Плакала: «Я ее все равно не оставлю».

Вернулись мы назад и стали жить уже при немцах. Мама носила продавать вещи отца, помню, что первый раз она выменяла костюм на горох. Месяц ели гороховый суп. Суп кончился. Было у нас большое старое одеяло, ватное. Мама шила из него бурки, если кто-нибудь просил, ей платили, как могли. У нас была когда затирка, когда яйцо одно на всех... А часто — и ничего не было. Мама только обнимет и погладит...

Мама не говорила, что она помогает партизанам, но я догадывалась. Она часто куда-то уходила и не признавалась — куда. Когда она шла что-то менять, то мы об этом знали, а тут она уходила — и все. Я гордилась мамой и говорила своим сестричкам: «Скоро придут наши. Придет дядя Ваня (это папин брат)». Он воевал в партизанах.

В тот день мама налила молоко в бутылку, поцеловала нас и пошла, а дверь закрыла на ключ. Мы трое залезли под стол, со стола свисала большая скатерть, под ней тепло, и играли в «дочки-матери». Вдруг слышим треск мотоциклов, затем страшный стук в дверь, и мужской голос с искажением произносит мамину фамилию. Неправильно. Я почувствовала что-то недоброе. А у нас под окном со стороны огорода стояла лестница, мы незаметно спустились по ней. Быстренько. Я схватила одну сестру за руку, вторую посадила на шею, это у нас называлось «аты-баты», и мы вышли на улицу.

Там собралось много людей. И детей. Те, кто приехал за мамой, нас не знали и не нашли. Они ломают дверь... А я вижу, что на дороге показалась мама, такая маленькая, такая худенькая. И немцы ее увидели, они побежали наверх, на горку, схватили маму, заломили ей руки и стали бить. А мы бежим и кричим все втроем, кричим, сколько есть силы: «Мама! Мама!». Втолкнули ее в мотоциклетную коляску, она только крикнула соседке: «Феня

милая, ты присмотри за моими детьми». Нас соседи отвели от дороги, но каждый боялся к себе брать: а вдруг придут за нами? И мы пошли плакать в канаву. Домой нельзя, нам уже рассказали, что в соседней деревне забрали родителей, а детей сожгли, закрыли в доме и сожгли. Боимся войти в свой дом... Так продолжалось, наверное, три дня. То мы в курятнике сидим, то к огороду нашему подойдем. Есть хочется, а в огороде ничего не трогаем, потому что мама ругалась, что мы рано рвем морковку, когда она еще не выросла, горох обрываем. Мы ничего не берем и говорим друг другу, мол, наша мама переживает, что мы без нее все уничтожим на огороде. Конечно, она так думает. Она не знает, что мы ничего не трогаем. Слушаемся. Взрослые передавали, и дети приносили нам — кто брюкву вареную, кто картофелину, кто бурак...

Потом нас забрала к себе тетя Арина. У нее остался один мальчик, а двоих она потеряла, когда уходила с беженцами. Мы все время вспоминали маму, и тетя Арина повела нас к коменданту тюрьмы, стала просить о свидании. Комендант сказал, что разговаривать с мамой нельзя, единственное, что он нам разрешил, — это пройти мимо ее окошка.

Мы пошли мимо окошка, и я увидела маму... Нас вели так быстро, что маму увидела я одна, а сестренки не успели. Мамино лицо было красное, я поняла — ее сильно били. Она нас тоже увидела и только крикнула: «Дети! Девочки мои!». И больше не выглянула в окошко. Потом нам передавали, что она увидела нас и потеряла сознание...

Через несколько дней мы узнали — маму расстреляли. Я и сестричка Рая понимали, что нашей мамы уже нет, а самая младшая, Томочка, говорила, что вот вернется мама, я ей все расскажу, если мы ее обижали, не брали на руки. Когда нам давали поесть, я лучший кусочек отдавала ей. Так, я помнила, делала мама...

Когда маму расстреляли... На следующий день к нашему дому подъехала машина... Стали забирать вещи...

Соседи позвали нас: «Идите, попросите свои валенки, свои теплые пальто. Скоро будет зима, а вы одеты полетному». Стоим мы втроем, маленькая Томочка сидит у меня на шее, и я говорю: «Дядя, дайте ей валенки». Полицейский в это время их взял и несет. Я договорить не успела, как он пнул меня ногой, и сестра свалилась... И ударилась головкой о камень. Наутро мы увидели на том месте большой нарыв, он стал расти. У тети Арины был толстый платок, она завяжет ей головку, а нарыв все равно видно. Я ночью обниму сестренку, а головка у нее большая-большая. И у меня страх, что она умрет.

Узнали об этом партизаны и забрали нас к себе. В партизанском отряде нас утешали, как могли, очень любили. Мы даже забыли на какое-то время, что у нас нет мамы с папой. У кого-то рубашка порвалась, рукав свернули, нарисовали глаза, нос — и подарили нам куклы. Учили нас читать, про меня даже стихи сочинили, про то, как я не люблю умываться холодной водой. А условия в лесу — какие? Зимой умывались снегом...

Лиля в ванночке сидит,
Лиля жалобно кричит:
«Ой, беда, беда, беда,
Очень мокрая вода».

Когда стало опасно, нас отвезли назад к тете Арине. Командир — а командиром отряда был легендарный Петр Миронович Машеров — спросил: «Что вам надо? Что бы вы хотели?». А нам надо очень много, в первую очередь, нужны гимнастерки. И нам сшили платья из такой же ткани, как гимнастерки. Зелененькие такие платья, с отстроченными карманчиками. Всем скатали валенки, всем троим пошили шубки, связали варежки. Помню, что привезли нас к тете Арине на возу вместе с мешочками, в мешочках была мука, крупа. Даже куски кожи, чтобы она смогла пошить нам ботиночки.

А когда к тете Арине пришли с обыском, она выда-
ла нас за своих детей. У нее долго выпытывали, почему
мы беленькие, а сын у нее черненький. Что-то они зна-
ли... Погрузили в машину нас и тетю Арину с мальчи-
ком, привезли в Игрицкий концлагерь. Это было зимой,
спали все на полу, на досках только солома. Мы ложи-
лись так: я, потом маленькая Тома, с ней рядом — Рая,
а дальше тетя Арина и ее мальчик. Я оказалась с краю,
рядом со мной часто менялись люди. Дотронуся ночью
до холодной руки и уже понимаю, что человек умер.
Утром посмотрю — он такой, как и живой, только хо-
лодный. Один раз испугалась... Я увидела, как крысы
выели у мертвого человека губы и щеки. Крысы были
жирные и наглые. Я их боялась больше всего... У нашей
маленькой в партизанском отряде нарыв на головке
пропал, в концлагере появился снова. Тетя Арина все
время прятала этот нарыв, потому что знала: увидят,
что девочка больная, расстреляют. Завязывала сестре
голову толстыми платками. Ночью я слышала, как она
молилась: «Господи, если ты забрал их мать, сохрани
детей». И я молилась... Я просила: пусть останется хотя
бы маленькая Томочка, она такая маленькая, что ей еще
нельзя умирать.

Из концлагеря нас куда-то повезли... Везли в ваго-
нах для скота. На полу — засохшие коровьи лепешки.
Помню, что доехали мы только до Латвии, и там нас
разобрали местные жители. Самую первую забрали То-
мочку. Тетя Арина на руках вынесла ее старому латышу
и стала на колени: «Только спасите ее. Только спасите».
Он сказал: «Если я донесу ее домой, то она будет жить.
А идти мне два километра. Через речку, потом — клад-
бище...». Все мы попали к разным людям. Тетю Арину
тоже забрали от нас...

Мы слышали... Нам сказали — Победа. Я пришла
к людям, у которых была сестра Рая:

— Мамы нет... Пойдем заберем нашу Тому. И надо
искать тетю Арину.

Поговорили мы так и пошли искать тетю Арину. И то, что мы ее нашли, — это чудо. А нашли благодаря тому, что она очень хорошо шила. Мы зашли в один дом попить воды. У нас спрашивают: куда мы идем? Отвечаем, что идем искать тетю Арину. Девочка хозяйки тут же отозвалась: «Идемте, я вам покажу, где она живет». Тетя Арина ахнула, когда увидела нас. Худенькие, как досочки. Стоял конец июня, самое тяжелое время: старый урожай съели, новый еще не созрел. Мы ели колосья, еще зеленые: натеребим жменьку и глотаем, даже погрызть не успевали, так хотелось есть.

Недалеко от тех мест, где мы жили, был город Краслав. Тетя Арина сказала, что нам надо в этот город, ехать в детдом. Она уже была совсем больная и попросила, чтобы нас отвезли. Нас привезли рано утром, ворота еще были закрыты, посадили под окошко детдома и уехали. Утром встало солнышко... Из дома выбежали дети, все в красненьких туфельках, трусиках, без маечек, с полотенцами в руках. Бегут к речке, смеются. А мы смотрели... Не верили, что может быть такая жизнь. Дети заметили нас, а мы сидим оборванные, грязные, они закричали: «Новенькие приехали!». Позвали воспитательниц. У нас никто не спрашивал никаких документов. Тут же принесли кусок хлеба и консервы. Мы не едим, боимся — сейчас это счастье кончится. Это невозможное счастье... Нас успокоили: «Девочки, вы пока посидите, а мы пойдем баню топить. Помоем вас и покажем, где вы будете жить».

Вечером приехала директор, увидела нас и говорит, что у них переполнено и нас надо отвезти в минский детприемник, а там распределят в какой-нибудь детдом. Мы как услышали, что нам опять надо куда-то ехать, стали плакать и умолять оставить нас. Директор попросила: «Дети, не плачьте. Не могу больше видеть ваших слез», — куда-то позвонила, и нас оставили в этом детдоме. Там был прекрасный, чудный детдом, там были такие воспитательницы, таких, наверное, сейчас нет.

С таким сердцем! Как оно у них такое осталось после войны?

Нас очень любили. Учили, как надо обращаться друг с другом. Был такой случай. Нам рассказывают, если ты кого-нибудь угощаешь, то не доставай из кулечка конфеты, а поднеси весь кулечек. А тот, кто берет, должен взять одну конфету, а не весь кулечек. И вот, когда этот разговор был, один мальчик отсутствовал. Приходит сестра одной девочки и приносит коробку конфет. Девочка — воспитанница детдома — подносит коробку конфет этому мальчику, и он берет у нее всю коробку. Мы смеемся. Он растерялся и спрашивает: «А что надо делать?». Ему отвечают, что надо было взять одну конфету. Тогда он догадался: «Теперь я понимаю — надо всегда делиться. А то мне хорошо, а вам всем плохо». Да, нас учили поступать так, чтобы было хорошо всем, а не одному. И нас было легко учить, мы все много пережили.

Старшие девочки шили всем портфели, шили их даже из старых юбок. В праздник директор детдома обязательно раскатывала из сырого теста огромный, как простыня, блин. И каждый себе по кусочку отрезал и делал вареники, кто какие хочет: маленький, большой, круглый, треугольник...

Когда нас было много, мы были вместе, то редко вспоминали о папах и мамах. А в изоляторе, когда болели, лежим, ничего не делаем, только и говорили о них, о том, кто и как попал в детдом. Мне один мальчик рассказал, как у него всех сожгли, а он в это время уехал на лошади в соседнюю деревню. Он говорил, что маму очень жалко, папу очень жалко, но больше всего жалко маленькую Наденьку. Маленькая Наденька лежала в белых пеленочках, а ее сожгли. Или еще, когда на полянке собираемся в тесный кружок, рассказываем друг дружке о доме. О том, как мы жили до войны.

Привезли в детдом маленькую девочку. Ее спрашивают:

- Как твоя фамилия?
- Мария Ивановна.
- Как тебя зовут?
- Мария Ивановна.
- Как твою маму звали?
- Мария Ивановна.

Отзывалась она только на «Марию Ивановну». Учительница у нас была Мария Ивановна, и эта девочка Мария Ивановна.

На Новый год она рассказывала стихотворение Маршака: «Курица-красавица у меня жила». И дети прозвали ее — курица. Дети есть дети, надоело всем звать ее Марией Ивановной. И вот один наш мальчик пошел к своему другу в ремесленное училище, которое шефствовало над нами, и что-то они поспорили, и он назвал другого мальчика Курицей. Тот обиделся: «Почему ты меня Курицей назвал? Разве я на курицу похож?». А наш мальчик говорит, что в детдоме есть девочка, и она очень тебя напоминает. У нее такой же нос, такие глаза, а зовем мы все ее Курицей, и рассказал почему.

И оказалось, что это родная сестра того мальчика. Когда они встретились, то вспомнили, как ехали на телеге... Как бабушка им что-то разогревала в консервной банке, как бабушку убило при бомбежке... Как старая соседка, бабушкина подруга, звала ее уже мертвую: «Мария Ивановна, поднимитесь, у вас двое внуков осталось... Как вы могли умереть, Мария Ивановна? Зачем вы умерли, Мария Ивановна?». Девочка, оказывается, все это помнила, но не была уверена, что это она помнит, и это с ней было. У нее в ушах только осталось два слова: Мария Ивановна.

Мы все очень обрадовались, что она нашла брата, потому что у всех у нас кто-то был, а у нее никого. У меня, например, было две сестры, у кого-то брат или двоюродные братья и сестры. А у кого не было, те сами роднились: давай ты будешь мой брат или давай ты будешь моя сестра. И тогда уже оберегали друг друга, заботи-

лись. В нашем детдоме собралось одиннадцать Тамар... Фамилии у них были: Тамара Неизвестная, Тамара Незнакомая, Тамара Безымянная, Тамара Большая и Тамара Маленькая...

Что еще помню? Помню, что нас мало ругали в детдоме, нас совсем не ругали. Мы катались зимой на санках с домашними детьми, и я видела, как мать поругает и даже отшлепает своего ребенка, если он наденет валенки на босую ногу. Когда мы выбегали на босую ногу, нас никто не ругал. Я специально надевала так валенки, чтобы меня поругали. Мне так хотелось, чтобы меня поругали.

Я хорошо училась, и мне сказали, что я должна подтянуть с математикой одного мальчика. Из деревни. А учились мы вместе — детдомовские и деревенские, местные. Надо было пойти к нему в семью. В дом. И мне было страшно. Я думала: а какие там вещи, как и где они стоят, как там надо себя вести? Дом — это было что-то недоступное для нас, самое желанное.

Постучала к ним в дверь, и у меня замерло сердце...

[illegible]

Помимо солнечный день такой ветер боише

Дом скорел. Мы копались в земле, но там ничего

Скопје до пет проценти. А во сè друго странично

Двоюродного сестру повесили. Милк ее был

Такие молодые... Еще и не женихи, и не солдаты...
Зачем я вам рассказала? Сейчас мне еще страшнее,
чем тогда. Я потому и не вспоминаю...

«ХОТЯ БЫ ОДИН СЫНОЧЕК ОСТАЛСЯ...»

Саша Каврус — 10 лет.

Сейчас — кандидат филологических наук.

Я учился в школе...

Вышли на улицу, начали играть, как обычно, в этот момент налетели фашистские самолеты и сбросили бомбы на нашу деревню. А нам уже рассказывали о боях в Испании, о судьбе испанских детей. Теперь бомбы летели на нас. Старые женщины падали на землю и молились... Так... На всю жизнь я запомнил голос Левитана, объявившего о начале войны. Речи Сталина не помню. Люди стояли днями возле колхозного репродуктора и чего-то ждали, я стоял рядом с отцом...

Первым в нашу деревню Брусы Мядельского района ворвался отряд карателей. Открыли огонь, постреляли всех собак и кошек, потом стали выпытывать, где живут активисты. В нашей хате до войны был сельсовет, но никто из людей на отца не показал. Так... Не выдал... Ночью мне снился сон. Меня расстреляли, я лежу и думаю, но почему я не умираю...

Запомнился эпизод, как немцы за курами гонялись. Словит, поднимет вверх и крутит до тех пор, пока в руке голова не останется. Хохочут. А мне казалось, что наши куры кричат... Как люди... Человеческими голосами... И коты, и собаки, когда их стреляли... Я до этого не видел никакой смерти. Ни человеческой, никакой. В лесу один раз мертвых птенцов, и все. Больше смерти не видел...

Деревню нашу подожгли в сорок третьем... Мы в этот день копали картошку. Сосед Василий, он был на первой мировой войне и знал немного немецкий язык, сказал: «Я пойду и попрошу немцев, чтобы не жгли деревню. Тут — дети». Пошел, и его самого сожгли. Сожгли школу. Все книжки. Сгорели наши огороды. Сады.

Куда нам идти? Отец повел к партизанам в Козинские леса. Идем, встречаем людей из другой деревни, их тоже сожгли, они говорят, что немцы совсем рядом... Залезли мы в какую-то яму: я, брат Володя, мама с маленькой сестричкой и отец. Отец взял гранату, и договорились, что если немцы заметят нас, то он вырвет чеку. Попрощались уже. Мы с братом сняли ремни, сделали себе петли, чтобы повеситься, надели на шею. Мама поцеловала всех нас. Я слышал, как она сказала отцу: «Хотя бы один сыночек остался...». Тогда отец говорит: «Пусть бегут. Молодые, может, спасутся». А мне так было жалко маму, что я не пошел. Так... Не пошел...

Слышим — собаки лают, слышим — команды чужие, слышим — стреляют. А лес у нас — это такой бурелом, елки перевернутые, за десять метров ничего не видно. То рядом все было, а то слышим — голоса дальше и дальше. Когда стихло, мама встать не могла, у нее отнялись ноги. Папа нес ее на себе.

Через несколько дней встретили партизан, они отца знали. Мы уже чуть шли, голодные. Ноги сбиты. Идем, и один партизан спрашивает у меня: «Что б ты хотел найти под сосной: конфеты, печенье? Хлеба кусочек?». Я отвечаю: «Пригоршню патронов». Партизаны потом долго это вспоминали. Так я ненавижу немцев за все... И за маму...

Шли мимо сожженной деревни... Жито не сжато, картошка растет. Яблоки лежат на земле. Груши... А людей нет. Кошки и собаки бегают. Одинокие. Так... Людей нет. Ни одного человека. Голодные кошки...

Помню, что после войны у нас в деревне был один
букварь, а первая книга, которую я нашел и прочитал,
был сборник задач по арифметике.

Я читал ее как стихи... Так-так...

[illegible]

Сейчас — мастер.

До Ташкента добирались месяц. Месяц! Это был глубокий тыл. Отца направили туда как специалиста. Туда перевозили заводы. Фабрики. Вся страна перемещалась в тыл. В глубину. Хорошо, что страна большая.

Завод выпускал мины, снаряды, авиабомбы. Под-
 ростков допускали на шлифовку... Отлитые из металла
 заготовки шлифовались вручную... Способ простой —
 из шланга, под высоким давлением направлялась струя
 песка, раскаленного до ста пятидесяти градусов, отска-
 кивая от металла, песок обжигал легкие, бил в лицо,
 в глаза. Редко кто выдерживал больше недели. Нужен
 был характер.

87

Работали мы втроем: я, Олег и Ванюшка, они всего-то на два года постарше меня. Собирали взрыватель, а Яков Миронович Сапожников (фамилия врезалась в память), отличный мастер своего дела, его сваривал. Потом надо было подняться на ящик, чтобы дотянуться до тисков, зажать муфту взрывателя и воротом с метчиком откалибровать внутреннюю резьбу муфты. Делать это мы наловчились... Быстро... А дальше и того проще: вставить пробку и — в ящик. Как полный наберется — на место его. Под погрузку. Тяжеловатый, правда, до пятидесяти килограммов весом, но вдвоем управлялись. Якова Мироновича не отвлекали: у него самая тонкая работа. Самая ответственная — сварка!

Самое неприятное — огонь электросварки. Вроде и стараешься не глядеть на синие сполохи, а за двенадцать часов наловишь «зайчиков». Глаза от этого будто песком засыпанные. Трешь, а все без толку. От этого ли, от монотонного ли гудения динамо-машины, которая давала ток для сварки, просто ли от усталости, только иногда по-страшному хотелось спать. Особенно в ночные часы. Спать! Спать!

Если Яков Миронович видел, что есть хоть малая возможность дать нам передышку, командовал:

— Марш в электродный!

Уговаривать не приходилось: не было на всем заводе уголка уютнее и теплее, чем тот, где сушили горячим воздухом электроды. Забравшись на теплую деревянную полку, мгновенно засыпали. А минут через пятнадцать приходил в электродный Яков Миронович, будил.

Однажды я проснулся раньше, чем он начал побудку. Вижу: дядя Яша смотрит на нас. Тянет минуты. И слезы рукавом вытирает.

ром я боялась выходить из дому. Везде лежали мертвые лошади... овцы... коровы... Их не успевали закапывать, и они каждый день от жары росли... Увеличивались, надувались...

Крестьяне, они знают, что такое вырастить одну корову, какой это труд. Сколько надо времени. Они плакали, видя, как гибнет живое. Это же не дерево, что упало и молчит, это все кричало, ржало, блеяло. Стонало.

Запомнились слова дедушки: «Ну а эти, безвинные, за что гибнут? Они и сказать-то ничего не могут». Дедушка у нас был книжник, он всегда по вечерам читал.

Моя старшая сестра до войны работала в райкоме партии, и ее оставили в подполье. Она принесла домой много книг из райкомовской библиотеки, портреты, красные знамена. Мы их закапывали в саду под яблонями. И ее партийный билет. Закапывали ночью, а у меня было такое чувство, что красное... красный цвет... и из под земли будет виден.

Как пришли немцы, почему-то не помню... Помню, что они уже были, давно были, и вот согнали всех нас, всю деревню. Поставили впереди пулеметы: где партизаны, к кому они заходили? Все молчали. Тогда они отсчитали каждого третьего и вывели на расстрел. Расстреляли шесть человек: двух мужчин, двух женщин и двух подростков. И уехали.

За ночь выпал свежий снег... Это Новый год... А под этим свежим снегом лежат убитые. Хоронить было некому, гробы делать некому. Мужчины прятались в лесу. Старые женщины жгли бревна, чтобы хоть немного разогреть землю и вырыть могилы. Они долго стучали лопатами по зимней земле...

Скоро немцы вернулись... Через несколько дней... Собрали всех детей, нас было тринадцать человек, поставили впереди своей колонны — боялись партизанских мин. Мы шли впереди, а они за нами ехали. Если надо было, например, остановиться и взять воду из ко-

лодца, они сначала запускали к колодцу нас. Так мы шли километров пятнадцать. Мальчишки не так боялись, а девочки шли и плакали. А они за нами на машинах... Не убежишь... Помню, что мы шли босиком, а еще только начиналась весна. Первые дни...

Хочу забыть... Это хочу забыть...

Немцы ходили по хатам... Собрали тех, у кого дети ушли в партизаны... И отрубили им головы посреди деревни... Нам приказали: смотрите. В одной хате никого не нашли, поймали и повесили их кота. Он висел на веревочке, как ребенок...

Хочу все забыть...

«ТЕПЕРЬ БУДЕТЕ МОИ ДЕТИ...»

Нина Шунто — 6 лет.

Сейчас — повар.

Ай-ай-ай! Сердце сразу заболело...

До войны мы жили с одним папой... Мама умерла. Когда папа ушел на фронт, остались с тетей. Тетя наша жила в деревне Задоры Лепельского района. Только папа нас привез к ней — она наткнулась глазом на сук, выколола глаз. У нее началось заражение крови, и она умерла. Наша единственная тетя. И мы остались одни с братом, а брат был маленький. Мы с ним пошли искать партизан, почему-то мы решили, что там наш папа. Ночевали где придется. Помню, когда была гроза, мы ночевали в стоге сена, вытянули сено, сделали ямку и прятались там. Таких детей, как мы, было много. И все искали своих родителей, даже если они знали, что родители убиты, все равно говорили нам, что тоже ищут папу с мамой. Или кого-нибудь из родственников.

Шли... Шли... В какой-то деревне... В одной хате было открыто окно. И там, видно, недавно пекли картофельные пироги. И когда мы приблизились, брат услышал запах этих пирогов, он потерял сознание. Я зашла в эту хату, хотела попросить кусочек для брата, потому что он бы не поднялся. А я бы его не понесла, сил мало. В хате никого не нашла, но не удержалась и отломил кусочек пирога. Сидим и ждем хозяев, чтобы не подумали, что мы воруем. Пришла хозяйка, она жила одна. Она нас не отпустила, она сказала: «Теперь будете мои дети...». Как

она это сказала, мы тут же с братом за столом заснули. Так нам стало хорошо. У нас появился дом.

Скоро деревню сожгли. Людей всех тоже. И нашу новую тетю. А мы остались жить, потому что рано утром ушли за ягодами... Сидели на горке и смотрели на огонь... Уже все понимали... Не знали: куда нам идти? Как найти еще одну тетю? Только эту полюбили. Мы даже говорили между собой, что будем называть нашу новую тетю мамой. Такая она хорошая, она всегда целовала нас на ночь.

Нас подобрали партизаны. Из партизанского отряда на самолете отправили за линию фронта...

Что у меня осталось с войны? Я не понимаю, что такое чужие люди, потому что мы выросли с братом среди чужих людей. Нас спасли чужие люди. Но какие же они мне чужие? Все люди свои. Я живу с этим чувством, хотя часто разочаровываюсь. Мирная жизнь другая...

|||||||9|||||||3|||||||001|||||||6|||||||6|||||||93|||||||

Сейчас — музыкант.

В этот день намечалось торжественное открытие нашего пионерского лагеря «Талька». Ждали в гости пограничников и утром отправились в лес. За цветами. Выпустили праздничную стенгазету, красиво украсили входную арку. Место было чудесное, погода прекрасная. У нас каникулы! Нас даже не насторожил гул самолетов, который слышали все утро, такие ходили мы счастливые.

94

Несколько дней ждали, что за нами приедут. Не дождались никого и сами пошли на станцию Пуховичи. На станции сидели долго. Дежурный сказал, что из Минска ничего больше не прибудет, связь прервана. Вдруг бежит кто-то из детей и кричит, что идет тяжелый, тяжелый состав. Мы встали на рельсы... Сначала махали руками, а потом сняли галстуки... И махали красными галстуками, чтобы остановить поезд. Машинист увидел нас и стал показывать руками в отчаянии, что остановить поезд он не может — потом не сдвинется. «Если можете, бросайте детей на платформы!» — кричал он. На платформах сидели люди, и они нам тоже кричали: «Спасайте детей! Спасайте детей!».

Поезд только чуть медленнее поехал. С платформ тянули руки раненые, подхватывали малышей. И всех до единого погрузили в этот поезд. Это был последний состав из Минска...

Ехали долго, поезд шел медленно. Хорошо было видно... На насыпи лежали убитые, сложенные аккуратно, как шпалы. В памяти осталось... Как нас бомбили, как визжали мы, и визжали осколки. Как на станциях нас кормили женщины, они откуда-то уже знали, что едет поезд с детьми, и мы целовали им руки. Как оказался с нами грудной ребенок, мать его убило при обстреле. И как женщина на станции увидела его и сняла с головы платочек, отдала на пеленочки...

Все! Баста! Сильно волнуюсь... Мне нельзя волноваться. Сердце больное. Скажу вам, если не знаете: те, кто был в войну ребенком, часто умирают раньше своих отцов, которые воевали на фронте. Раньше, чем бывшие солдаты. Раньше...

Я уже столько своих друзей похоронил...

ГЛАЗАМИ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ...»

Зина Гурская — 7 лет.

Сейчас — шлифовальщица.

Я смотрела на них глазами маленькой девочки. Маленькой деревенской девочки. Широко раскрытыми глазами...

Близко увидела первого немца... Высокий, голубые глаза. Я так удивилась: «Такой красивый, а убивает». Наверное, это мое самое сильное впечатление. Мое первое впечатление от войны...

Жили мы: мама, две сестрички, братик и курица. У нас одна курица осталась, она с нами в хате жила, с нами спала. С нами от бомб пряталась. Она привыкла и ходила за нами, как собачка. Как мы ни голодали, а курицу спасли. А голодали так, что мать за зиму сварила старый кожух и все кнуты, а нам они пахли мясом. Братик грудной... Заваривали кипятком яйцо, и эту водичку давали ему вместо молока. Он переставал тогда плакать и умирать.

А вокруг убивали. Убивали. Убивали... Людей, коней, собак... За войну у нас всех коней убили. Всех собак. Правда, коты уцелели.

Днем немцы приходят: «Матка, дай яйца. Матка, дай сало». Стреляют. А ночью партизаны... Партизанам надо было выжить в лесу, особенно зимой. Они ночью стучали в окно. Когда добром заберут, когда силой... У нас

вывели коровку... Мама плачет. И партизаны плачут... Не рассказать. Не рассказать, милая. Нет! И нет!

Мама с бабушкой пахали так: сначала мама надевала на шею хомут, а бабушка шла за плугом. Потом они менялись, другая становилась конем. Я мечтала скорее вырасти. Жалко было маму и бабушку.

После войны на всю деревню была одна собака (чужая прибилась) и одна наша курица. Яйца мы не ели. Собирали, чтобы вывести цыплят.

Я пошла в школу... Оторвала со стены кусок старых обоев — это была моя тетрадка. Вместо резинки — пробка из бутылки. Выросли осенью бураки, так мы радовались, что сейчас натрем бураков и у нас будут чернила. День-два эта каша постоит и становится черная. Уже было чем писать.

Еще помню, что мама и я любили вышивать гладью, обязательно чтобы веселенькие цветочки были. Черных ниток я не любила.

И сейчас не люблю черный цвет...

79010101P124HND19Q010101QD18V1HP10119S01UP12101100101001010101

Кима Мурзич — 12 лет.

Сейчас — регулировщица радиоаппаратуры.

Наша семья...

Нас было три сестры — Рема, Майя и Кима. Рема — это Электрификация и Мир, Майя — это Первое мая, Кима — это Коммунистический интернационал молодежи. Такие имена дал нам отец. Он был коммунист, рано вступил в партию. И нас так воспитывал. В доме у нас было много книг, были портреты Ленина и Сталина. В первый день войны мы закопали их в сарае, я оставила себе только «Дети капитана Гранта» Жюль Верна. Одну любимую книгу. Всю войну я ее читала и перечитывала.

Мама ходила в деревни под Минском, меняла платки на продукты. Была у нее пара хороших туфель. Она отнесла даже свое единственное крепдешиновое платье. Мы с Майей сидели и ждали маму: вернется или не вернется? Старались друг друга отвлечь от этих мыслей, вспоминали, как до войны бегали на озеро, купались, загорали, как танцевали в школьной самодеятельности. Какая у нас была длинная-длинная аллея по дороге в школу. Запах вишневого варенья, которое мама варила во дворе на камешках... Такое все было далекое, такое все хорошее. Говорили о Реме, старшей сестре. Всю войну мы думали, что она погибла. Как ушла двадцать третьего июня на работу на завод, так и не вернулась домой...

Кончилась война, мама кругом посылала запросы, искала Рему. Был такой адресный стол, там всегда толпилось много людей, все друг друга искали. Я носила и носила туда мамины письма. А нам письма не было. Наступит выходной день, мама сядет у окна и ждет, когда будет идти почтальонша. А она всегда проходила мимо.

Однажды вернулась с работы мама. Заходит к нам соседка. Она говорит маме: «Танцуйте», — и что-то держит в руке за спиной. Мама догадалась, что это письмо. Она не танцевала, она села на скамейку и не могла встать. И не говорила.

Так сестра нашлась. Она была в эвакуации. Мама стала улыбаться. Всю войну, пока мы не нашли сестру, наша мама не улыбалась...

«НЕ МОГЛА ПРИВЫКНУТЬ

К СВОЕМУ ИМЕНИ...»

||

Лена Кравченко — 7 лет.

Сейчас — бухгалтер.

Я, конечно, ничего не знала о смерти... Никто не успел объяснить, я ее сразу увидела...

Когда пулеметы строчат из самолета, то кажется, что все пули летят в тебя. В твою сторону. Я просила: «Мамочка, ложись на меня...» Она ляжет, тогда я ничего не вижу и не слышу.

Страшнее всего было потерять маму... Я видела убитую молодую женщину, а ребенок сосал у нее грудь. Видно, ее минуту назад убило. Ребенок даже не плакал. А я сидела рядом...

Не потерять только мне маму... Мама все время держит меня за руку и гладит по голове: «Все будет хорошо. Все будет хорошо».

Ехали мы на какой-то машине, и всем детям надевали на головки ведра. Я не слушалась маму...

Потом помню — гонят нас в колонне... И там у меня маму забирают... Я хватаю ее за руки, цепляюсь за ее маркизетовое платье, она оделась не для войны. Ее нарядное платье. Самое нарядное. Не отпускаю... Плачу... А фашист меня отшвыривает сначала автоматом, а с земли, когда я упала, — сапогом. Подбирает меня какая-то женщина. И вот мы с ней уже почему-то в вагоне, едем. Куда? Она зовет меня «Анечка»... Но я думаю, что

у меня другое имя... Как будто помню, что оно у меня другое, но какое — забыла. От страха. От страха, что у меня забрали маму... Куда мы едем? Мне так кажется, из разговоров взрослых я поняла, везут нас в Германию. Помню свои мысли: зачем я немцам такая маленькая? Что я буду у них там делать? Когда стало темнеть, женщины позвали меня к двери и прямо вытолкнули из вагона: «Беги! Может, спасешься».

Свалилась в какую-то канаву, там и уснула. Было холодно, и снился мне сон, что мама укутывает меня во что-то теплое и говорит ласковые слова. Этот сон мне снится всю жизнь...

Через двадцать пять лет после войны я нашла одну только нашу тетю. Она мне назвала мое настоящее имя, и я долго не могла к нему привыкнуть.

Не откликалась...

«ГИМНАСТЕРКА У НЕГО БЫЛА МОКРАЯ...»

Валя Матюшкова — 5 лет.

Сейчас — инженер.

Вы удивитесь! А я хотела бы вспомнить что-нибудь смешное. Веселое. Я люблю смеяться, я не хочу плакать. О-о-о... Уже плачу...

Папа ведет меня в роддом к маме и говорит, что мы скоро купим мальчика. Я хочу представить, какой у меня будет братик. Спрашиваю у папы: «Какой?». Он отвечает: «Маленький».

Вдруг мы с папой где-то высоко, и в окно ползет дым. Папа несет меня на руках, а я прошу, чтобы мы вернулись за моей детской сумочкой. Капризничаю. Папа молчит и крепко прижимает меня к себе, прижимает так крепко, что мне трудно дышать. Скоро папы не стало, я иду по улице с какой-то женщиной. Мы идем вдоль проволоки, за которой военнопленные. Жарко, они просят пить. У меня только две конфеты в кармане. Я бросаю за проволоку эти конфеты. Но откуда они у меня, эти конфеты? Я уже не помню. Кто-то бросает хлеб... Огурцы... Охранник стреляет, мы бежим...

Удивительно, но я все это помню... В подробностях...

Потом помню себя в детприемнике, он был окружен проволокой. Охраняли нас немецкие солдаты и немецкие овчарки. Там были и такие дети, что не умели еще ходить, а ползали. Когда они хотели есть, они лизали пол... Ели грязь... Они быстро умирали. Кормили пло-

хо, давали какой-то хлеб, от него так распухал язык, что мы не могли даже говорить. Думали только о еде. Позавтракаешь и думаешь — а что будет на обед? Пообедаешь — а что будет на ужин? Пролезали под проволокой и удирали в город. Цель одна — помойки. Немыслимая радость, если найдешь шкурку от селедки или картофельные очистки. Очистки ели сырыми.

Помню, как меня словил на помойке какой-то дяденька. Я испугалась:

— Дяденька, я больше не буду.

Он спросил:

— Ты чья?

— Я — ничья. Я — из детприемника.

Он повел меня домой и накормил. В доме у них была только картошка. Сварили, и я съела целую кастрюлю картошки.

Из детприемника перевезли в детдом, детдом находился напротив мединститута, а там был немецкий госпиталь. Помню низкие окна, тяжелые ставни, которые закрывали на ночь.

Тут кормили хорошо, я поправилась. Меня очень любила женщина, которая там убирала. Она жалела всех, а меня особенно. Когда приходили к нам брать кровь, все прятались: «Врачи идут...», — она засовывала меня в какой-нибудь угол. И все время повторяла, что я похожа на ее дочь. Другие лезли под кровати, их оттуда вытаскивали. Выманивали. То кусочек хлеба дадут, то покажут детскую игрушку. Я запомнила красный мячик...

«Врачи» уходили, я возвращалась в комнату... Помню: лежит маленький мальчик, у него ручка с кровати свисает, а по ней кровь течет. А другие дети плачут... Через две-три недели дети менялись. Одних куда-то увозили, они уже все были бледные, слабые, а других привозили. Откармливали.

Немецкие врачи считали, что кровь детей до пяти лет помогает скорейшему выздоровлению раненых.

Обладает омолаживающим эффектом. Это я узнала потом... конечно, потом...

А тогда... Мне хотелось получить красивую игрушку. Красный мячик.

Когда немцы стали удирать из Минска... Отступали... Женщина эта, что меня спасала, вывела нас за ворота: «У кого есть кто-нибудь, ищите. У кого нет, идите в любую деревню, там вас люди спасут».

И я пошла. Жила у одной бабушки... Ни фамилии ее, ни деревни не помню. Помню, что у нее дочку арестовали, и мы остались вдвоем — старенькая и маленькая. На неделю у нас был кусочек хлеба.

О том, что в деревне наши, я узнала последняя. Я болела. Как услышала, поднялась и прибежала к школе. Увидела первого солдата, как прилипла к нему. И помню, что гимнастерка у него была мокрая.

Так его обнимали, целовали и плакали.

«КАК БУДТО ОНА ЕМУ ДОЧЬ СПАСЛА...»

Геня Завойнер — 7 лет.

Сейчас — регулировщица радиоаппаратуры.

Что я больше всего храню в памяти? Из тех дней...

Как забирали отца... Он был в телогрейке, а лица его не помню, оно совершенно исчезло из моей памяти. Помню его руки... Они закрутили их веревками. Папины руки... Но как я ни напрягаюсь, тех, кто пришел за ним, тоже не помню. Их было несколько человек...

Мама не плакала. Она весь день простояла у окна.

Отца забрали, а нас переселили в гетто, стали мы жить за проволокой. Наш дом стоял у дороги, каждый день к нам во двор летели палки. Я видела фашиста у нашей калитки, когда группу вели на расстрел, он бил людей этими палками. Палки ломались, и он бросал их за спину. К нам во двор. Я хотела разглядеть его лучше, а не только спину, и однажды увидела: он был маленький, с лысиной. Кряхтел и отдувался. Мое детское воображение потрясло то, что он такой обыкновенный...

Бабушку нашу мы нашли убитой в квартире... Сами схоронили... Нашу веселую и мудрую бабушку, которая любила немецкую музыку. Немецкую литературу.

Мама ушла менять вещи на продукты, а в гетто начался погром. Обычно мы прятались в погребе, а тут полезли на чердак. Он был с одной стороны полностью разбитый, и это нас спасло. Немцы вошли в наш дом и штыками били в потолок. И не полезли на чердак

только потому, что он был разбитый. А в погреб они бросили гранаты.

Три дня продолжался погром, и три дня мы сидели на чердаке. А мамы с нами не было. Думали только о ней. Кончился погром, стали у ворот и ждем: жива она или нет? Вдруг показался из-за поворота наш бывший сосед, он прошел, не останавливаясь, но мы услышали: «Ваша мама жива». Когда мама вернулась, мы втроем стояли и смотрели на нее, никто не плакал, слез не было, наступило какое-то умиротворение. Даже не чувствовали голода.

Стоим с мамой у проволоки, мимо идет красивая женщина. Она остановилась возле нас по ту сторону и говорит маме: «Как мне вас жалко». Мама ей отвечает: «Если вам жалко, возьмите мою дочь к себе». «Хорошо», — задумывается женщина. Остальное они договаривают шепотом.

На следующий день мама привела меня к воротам гетто:

— Генечка, ты возьмешь коляску с куклой и пойдешь к тете Марусе (это наша соседка).

Я помню, в чем я тогда была одета: голубая кофта, свитерок с белыми помпончиками. Все лучшее, праздничное.

Мама меня толкает за ворота гетто, а я жмусь к ней. Она толкает, а сама слезами обливается. И помню, как я пошла... Помню, где ворота были, где пост охраны...

Так и прикатила колясочку, куда мама велела, там меня одели в колушок и посадили на повозку. Сколько мы ехали, столько я плакала и говорила: «Там, где ты, мама, там и я. Там, где ты...».

Привезли на хутор, посадили на длинную лавку. В этой семье, куда я попала, было четверо детей. И они взяли еще и меня. Я хочу, чтобы все знали имя женщины, которая меня спасла, — Олимпия Пожарицкая из деревни Геневици Воложинского района. Страх в этой семье жил столько времени, сколько я там жила. Их мог-

ли расстрелять в любую минуту... Всю семью... и четверо детей... За то, что они укрывают еврейского ребенка. Из гетто. Я была их смертью... Это какое надо иметь великое сердце! Нечеловеческое человеческое сердце... Появлялись немцы, меня сразу куда-нибудь отправляли. Лес был рядом, лес спасал. Женщина эта меня очень жалела, она жалела одинаково своих детей и меня. Если она что-то давала, то давала всем, если она целовала, то целовала всех. И гладила всех одинаково. Я называла ее «мамуся». Где-то у меня была мама, а здесь мамуся...

Когда к хутору подошли танки, я пасла коров, увидела танки и спряталась. Мне не верилось, что танки наши, но когда различила на них красные звезды, вышла на дорогу. С первого танка соскочил военный, подхватил меня на руки и высоко-высоко поднял. Тут прибежала хозяйка хутора, она была такая счастливая, такая красивая, ей так хотелось чем-то хорошим поделиться, сказать, что они тоже что-то сделали для этой победы. И она рассказала, как они меня спасли. Еврейскую девочку... Этот военный прижал меня к себе, а я была тоненькая-тоненькая, и спряталась у него под рукой, и он обнял эту женщину, он обнял ее с таким лицом, как будто она ему дочь спасла. Он говорил, что у него все погибли, вот кончится война, он вернется и заберет меня в Москву. А я ни за что не соглашалась, хотя не знала, жива моя мама или нет.

Прибежали другие люди, они тоже обнимали меня. И все признавались, что догадывались, кого прячут на хуторе.

Потом приехала за мной мама. Она вошла во двор и стала перед этой женщиной и ее детьми на колени...

и в туалет ходили. И по большой, и по маленькой нужде... Состав начали бомбить... В моем вагоне сорвало крышу. Я был не один, а с дружкой Гришкой, ему, как и мне, десять лет, до войны мы учились в одном классе. С первых минут, как нас стали бомбить, мы держались друг за дружку, чтобы не потеряться. Когда сорвало крышу, решили вылезть из вагона через верх и бежать. Бежать! Нам уже было ясно — везут на запад. В Германию.

В лесу было темно, и мы оглядывались — горел наш состав, он горел одним костром. Высоким пламенем. Всю ночь шли, под утро прибились к какой-то деревне, но деревни не было, вместо домов... Это я в первый раз видел: стояли одни черные печи. Стелился туман... Мы шли, как по кладбищу... Среди черных памятников... Искали что-нибудь поесть, печи стояли пустые и холодные. Двинулись дальше. К вечеру опять наткнулись на потухшее пожарище и пустые печи... Шли и шли... Гриша вдруг упал и умер, у него остановилось сердце. Всю ночь я просидел над ним, ждал утра. Утром вырыл руками ямочку в песке и похоронил Гришу. Хотел запомнить это место, но как ты запомнишь, если все кругом незнакомое.

Иду, и от голода кружится голова. Вдруг слышу: «Стой! Мальчик, куда идешь?». Я спросил: «Кто вы такие?». Они говорят: «Мы — свои. Партизаны». От них я узнал, что нахожусь в Витебской области, попал в Алексеевскую партизанскую бригаду...

Когда окреп немного, стал проситься воевать. Надо мной в ответ подшучивали и отправляли подсобить на кухне. Но случилось такое... Такой случай... Три раза отправляли к станции разведчиков, и они не возвращались. После третьего раза командир отряда построил всех и сказал:

— В четвертый раз посылать сам не могу. Пойдут добровольцы...

Я стоял во второй шеренге, услышал:

— Кто добровольцы? — Тяну, как в школе, руку вверх. А фуфайка у меня была длинная, рукава болтались по

земле. Поднимаю руку, а ее не видно, рукава висят, я из них вылезти не могу.

Командир командует:

— Добровольцы, шаг вперед.

Сделал я шаг вперед.

— Сынок... — сказал мне командир. — Сынок...

Дали мне торбочку, старую ушанку, одно ухо у нее было оторвано.

Как только вышел на большую дорогу... Появилось ощущение, что за мной следят. Оглядываюсь — никого нет. Тут я обратил внимание на три густых кудрявых сосны. Осторожно присмотрелся и заметил, что там сидят немецкие снайперы. Любого, кто выходил из леса, они «снимали». А появился на опушке мальчик, да еще с торбочкой, трогать не стали.

Вернулся я в отряд и доложил командиру, что в соснах сидят немецкие снайперы. Ночью мы их взяли без единого выстрела и живьем привели в отряд. Это была моя первая разведка...

В конце сорок третьего... В деревне Старые Челнышки Бешенковичского района меня эсэсовцы словили... Били шомполами. Били ногами в кованых сапогах. Сапоги каменные... После пыток вытащили на улицу и облили водой. Это было зимой, я покрылся ледяной кровавой коркой. До меня не доходило, что за стук я слышу над собой. Сооружали виселицу. Я увидел ее, когда меня подняли и поставили на колодку. Последнее, что запомнил? Запах свежего дерева... Живой запах...

Петля затянулась, но ее успели сорвать... В засаде сидели партизаны. Когда ко мне вернулось сознание, я узнал нашего врача. «Еще две секунды — и все, я бы тебя не спас, — сказал он. — А так ты счастливый, сынок, потому что живой».

В отряд меня несли на руках, все во мне было отбито от пяток до макушки. Было так больно, что я думал: буду ли я расти?

[illegible]

Сейчас — летчик.

Я родился без него. У него было две войны: вернулся с финской, началась Отечественная. Второй раз ушел из дома.

Еще помню, что хотел быть высоким и спрашивал у мамы:

Мама отговаряла:

— А почему я такой маленький?

— Похож. Очень похож, — успокаивала мама.

111

Сказок бабушка Саша не рассказывала, с утра до поздней ночи она стирала, пахала, варила, белила. Пасла корову. А в праздники любила вспоминать, как я родился. И вот рассказываю вам, а у меня в ушах бабушкин голос: «Был теплый день. У деда Игната отелилась корова, а к старому Якимщуку залезли в сад. И ты появился на свет...»

Над хатой все время пролетали самолеты... Наши самолеты. Во втором классе я твердо решил стать летчиком.

Бабушка пошла в военкомат. У нее попросили мои документы, документов моих у нее не было, но она взяла с собой похоронку на отца. Домой вернулась со словами: «Выкопаем картошку, и поедешь в Минск в суворовское училище».

Перед дорогой она одолжила у кого-то муки и напекла пирожков. Военком посадил меня на машину и сказал: «Это тебе почет за твоего отца».

Я ехал на машине первый раз в жизни.

Через несколько месяцев приехала в училище бабушка и привезла мне гостинец — яблоко. Просила: «Ешь».

А я не хотел сразу расстаться с ее подарком...

«ИХ ТЯНУЛО НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЗАПАХ...»

Надя Савицкая — 12 лет.

Сейчас — рабочая.

Ждали из армии брата. Он написал письмо, что приедет в июне...

Думали: брат вернется и будем строить ему дом. Отец уже возил на конях бревна, вечером мы все сидели на этих бревнах, и я помню, как мама говорила отцу, что дом поставят большой. У них будет много внуков.

Началась война, брат, конечно, не пришел из армии. У нас — пять сестер и один брат, и этот брат был самый старший из детей. Всю войну мама плакала, и всю войну мы ждали брата. Я так помню, что ждали его каждый день.

Услышим, что куда-то пригнали наших военнопленных — скорее туда. Испечет мама десять бульбин — в узелок, и пошли. Один раз взять с собой было нечего, а в поле стояло спелое жито. Мы наломали колосьев, натерли в руках зерна. И попали на немцев, на патруль, который сторожил поля. Высыпали они наше зерно и показывают: становитесь, расстреливать будем. Мы в плач, а мама им сапоги целует. Они на конях сидят, высоко, она хватает их за ноги, целует и просит: «Паночки! Пожалейте... Паночки, это все мои дети. Вы видите, одни девочки». Не стали они нас стрелять и поехали.

Как они поехали, я стала смеяться. Смеюсь и смеюсь, десять минут прошло, а я смеюсь. Двадцать минут... Падаю от смеха. Мама меня ругает — не помогает, мама

меня просит — не помогает. Сколько мы шли, столько я смеялась. Пришла домой — смеюсь. В подушки зарююсь, успокоиться не могу — смеюсь. И весь день я так смеялась. Думали, что я... Ну, понимаете... У всех страх... Боялись, что я умом тронулась. Сбожеволила.

У меня до сих пор осталось: если испугаюсь, начинаю громко смеяться. Громко-громко.

Сорок четвертый год... Освободили нас, и тогда мы получили письмо, что брат погиб. Мама плакала, плакала и ослепла. Жили мы за деревней в немецких блиндажах, потому что деревня вся сгорела, сгорела наша старая хата и бревна для нового дома. Ничего у нас не уцелело, нашли в лесу солдатские каски и в них варили. Немецкие каски были большие, как чугуны. Кормились мы в лесу. За ягодами и грибами ходить было страшно. Пооставалось много немецких овчарок, они бросались на людей, загрызали детей маленьких. Они же были приучены к человеческому мясу, к человеческой крови. К ее свежему запаху... Если мы шли в лес, то собирались большими группами. Человек по двадцать... Матери нас учили, что надо ходить по лесу и кричать, тогда собаки пугаются. Пока корзину ягод насобираешь, так накричишься, что голос потеряешь. Охрипнешь. Раздувалось горло. А собаки большие, как волки.

Их тянуло на человеческий запах...

«ЗАЧЕМ ОНИ СТРЕЛЯЛИ В ЛИЦО?»

МОЯ МАМА БЫЛА ТАКАЯ КРАСИВАЯ...»

|||||

Володя Коршук — 7 лет.

Сейчас — профессор, доктор исторических наук.

Жили мы в Бресте. На самой границе...

Вечером были в кино все втроем: мама, папа и я. А так случалось редко, чтобы мы все втроем куда-нибудь пошли, потому что отец был постоянно занят. Он работал заведующим облоно, всегда в командировках.

Последний вечер без войны... Последняя ночь...

Когда утром мама меня растормошила, все вокруг громыхало, стучало, гудело. Это было очень рано, я запомнил, что за окнами еще было темно. Родители суетились, складывали чемодан, ничего почему-то не находилось.

У нас был свой дом, большой сад. Отец куда-то ушел, мы с мамой посмотрели в окно: в саду стояли какие-то военные и разговаривали на ломаном русском языке, одеты они были в нашу форму. И мама сказала, что это — диверсанты. У меня никак не укладывалось в сознании, что в нашем саду, где на столике еще остался со вчерашнего вечера самовар, вдруг — диверсанты! А где наши пограничники?

Уходили из города пешком. На глазах у меня рассыпался каменный дом впереди, и из окна вылетел телефон. Посреди улицы стояла кровать, на ней лежала

убитая девочка под одеялом. Как будто кровать откуда-то вынесли и поставили, такое все было целое, только одеяло чуть обгоревшее. Сразу за городом начиналось ржаное поле, самолеты обстреливали нас из пулеметов, и все двигались не по дороге, а по этому полю.

Вошли в лес, стало не так страшно. Из леса я увидел большие машины. Это ехали немцы, они громко смеялись. Слышалась незнакомая речь. В ней было много р-р-р...

Родители все время спрашивали друг друга: где наши? Где наша армия? Я представлял себе, что сейчас прискачет Буденный на боевом коне, и немцы побегут в страхе. Нашей коннице равных нет — так недавно убеждал меня отец.

Мы шли долго. Ночью заходили на хутора, нас кормили, обогревали. Многие знали отца, и отец тоже знал многих. Зашли на один хутор, помню до сих пор фамилию учителя, который жил на этом хуторе, — Паук. У них было два дома — новый и старый рядом. И они предлагали нам остаться, отдавали один дом. Но отец отказался. Хозяин довез нас до большой дороги, мама попыталась дать ему деньги, но он покачал головой и сказал, что за дружбу в тяжелую минуту денег не платят. Вот это я запомнил.

Так дошли мы до города Узды, из этих мест был родом мой отец. Поселились у бабушки в деревне Мрочки.

Первый раз партизан в нашем доме я увидел зимой, и с тех пор они мне представлялись людьми в белых маскхалатах. Скоро отец ушел с ними в лес, мы остались у бабушки с мамой.

Мама что-то шила... Нет... Она сидела за большим столом и что-то вышивала на пяльцах, а я был на печке. Немцы вошли в хату со старостой, и староста показал на маму: «Вот — она». Маме приказали собираться. Тут я напугался очень. Маму вывели во двор, она звала меня попрощаться, а я забился под лавку, и меня не могли оттуда вытащить.

Маму присоединили к двум другим женщинам, у которых тоже мужья были в партизанах, и повезли. Никто не знал — куда? В какую сторону? На завтра их всех нашли недалеко за деревней, они лежали в снегу... Всю ночь шел снег... Что мне запомнилось, когда маму привезли, так это то, что стреляли почему-то в лицо, у мамы на щеке было несколько черных дырочек от пуль. Я у дедушки все спрашивал: «Зачем они стреляли в лицо? Моя мама была такая красивая...». Маму похоронили... За гробом шли дедушка с бабушкой и я. Люди боялись. Они приходили прощаться ночью... Всю ночь у нас не закрывалась дверь, а днем мы были одни. Я не мог понять, за что убили мою маму, если она ничего плохого не делала. Она сидела и вышивала...

Однажды ночью пришел отец и сказал, что забирает меня с собой. Я был счастлив. Первое время жизнь моя в партизанах мало чем отличалась от жизни у дедушки. Отец уходил на задание, а меня оставлял у кого-нибудь в деревне. И вот я помню, как хозяйке, у которой он меня один раз оставил, привезли на санях убитого мужа. Она билась головой об стол, на котором стоял гроб, и повторяла одно слово «ироды».

Отца долго, долго не было, я ждал его и думал: «У меня нет мамы, где-то далеко бабушка с дедушкой, что же я буду один, маленький, делать, если привезут отца на санях убитого?». Когда отец вернулся, мне показалось, прошла вечность. А пока я ждал, дал себе слово, что буду называть его теперь только на «вы». Этим мне хотелось подчеркнуть, как я его люблю, как скучаю, и то, что он у меня один. Видно, отец вначале не заметил, как я к нему обращаюсь, а потом он меня спросил: «Почему ты говоришь мне “вы”?». Я ему признался, какое дал себе слово и почему. А он мне объяснил: «Ты тоже у меня один, поэтому мы должны говорить друг другу “ты”. Мы самые близкие на свете люди». Еще я попросил его, чтобы мы с ним никогда не расставались. «Ты уже взрослый, ты — мужчина», — убеждал он меня.

Запомнилась отцовская ласка. Как нас обстреливали... Лежали на холодной апрельской земле, травы еще не было... Отец нашел ямку поглубже и сказал мне: «Ложись вниз, а я наверх, если меня убьют, ты жить останешься». В отряде меня жалели все. Помню, подошел пожилой партизан, снял мне шапку и долго гладил по голове, и говорил отцу, что у него тоже где-то такой же бегаёт. А когда мы шли через болото, по пояс в воде, отец попробовал меня нести на себе, но быстро устал. Тогда партизаны стали нести меня по очереди. Этого я никогда не забуду. Не забуду, как нашли они немного щавеля и весь отдали мне. А сами уснули голодные.

...В Гомельском детском доме, куда меня и еще несколько партизанских детей переправили на самолете, как только город освободили, кто-то передал мне от отца деньги, большую красную бумажку. Мы пошли с мальчиками на базар и на все эти деньги купили конфет. Получилось очень много. Хватило всем. Воспитательница спросила: «Как ты поступил с деньгами, которые передал отец?». Я признался, что купил конфет. «И все?» — удивилась она.

Освободили Минск... За мной пришел какой-то мужчина и сказал, что отвезет меня к отцу. Сесть в поезд было трудно. Мужчина сел, а меня передали ему в окно.

Встретились мы с отцом, и я снова просил его, чтобы мы никогда, никогда с ним не расставались, потому что одному быть плохо. Помню, что встречал он меня не один, а с новой мамой. Она прижала мою голову к себе, а я так соскучился по материнской ласке и мне так было приятно от ее прикосновения, что сразу уснул в машине. У нее на плече.

В десять лет пошел в первый класс. Но я был большой и умел читать, через полгода меня перевели во второй класс. Читать я умел, а писать нет. Вызвали к доске, надо было написать слово с буквой «у». Я стоял и с ужасом думал, что не знаю, как пишется буква «у». А стрелять уже умел. Хорошо стрелял.

В один из дней я не нашел в шкафу отцовский пистолет, перевернул весь шкаф — пистолета не было.

— Как же так? Что ты теперь будешь делать? — спросил я отца, когда он вернулся с работы.

— Я буду учить детей, — отвечал он.

Я растерялся... Я думал, что работа — это только война...

000098160190091000010000000000

Сейчас — мастер производственного обучения.

120

похожа на ту, в какую мы недавно играли и которая мне нравилась.

В нашей деревне Малевичи немцы первые дни не останавливались, катили на станцию Жлобин. Там работал мой отец. Но он уже не ходил на станцию, он ждал, что вот-вот вернутся наши войска и погонят немцев назад к границе. Мы верили отцу и тоже ждали наших. Ждали их со дня на день. А они... Наши солдаты... Они лежали вокруг: на дорогах, в лесу, в канавах, в поле... На огородах... В торфяных ямах... Лежали убитые. Лежали вместе со своими винтовками. Со своими гранатами. Было тепло, и они росли от тепла, их как будто больше и больше становилось с каждым днем. Целая армия. Никто их не хоронил...

Отец запряг коня, и мы поехали в поле. Стали собирать убитых. Копали ямы... Клали рядами по десять-двенадцать человек... Мой школьный портфель заполнялся документами. Помню по адресам, что это были уроженцы Куйбышевской области, города Ульяновска.

Через несколько дней я нашел за деревней убитого отца и своего верного друга, четырнадцатилетнего Васю Шевцова. Мы с дедушкой приехали на это место... Началась бомбежка... Васю закопали, а отца похоронить не успели. После бомбежки мы уже ничего от него не нашли. Никакого следа. Поставили на кладбище крест — и все. Один крест. Под ним закопали праздничный отцовский костюм...

Через неделю солдат уже нельзя было собирать... Их нельзя было поднять... Под гимнастерками хлюпала вода... Мы собирали их винтовки. Солдатские книжки.

Дедушку убило при бомбежке...

Как жить дальше? Как жить без отца? Без дедушки? Мама плакала и плакала. Что делать с оружием, которое мы собрали и закопали в надежном месте? Кому его отдать? Посоветоваться не с кем. Мама плачет.

Зимой вышел на связь с подпольщиками. Они обрадовались моему подарку. Оружие переправили к партизанам...

Прошло время, сколько — не помню... Может быть, месяца четыре. Помню, что в тот день на прошлогоднем картофельном поле собирал мерзлый картофель. Вернулся домой мокрый, голодный, но принес полное ведро. Только разулся, снял промокшие лапти, как раздался стук в крышку погреба, в котором мы жили. Кто-то спрашивал: «Бойкачев здесь?». Когда я показался в люке погреба, команда была вылезти. В спешке вместо ушанки надел буденовку, за что тут же огрели кнутом.

Около погреба стояли три лошади, на которых сидели немцы и полицаи. Один полицай слез с лошади, набросил ремень мне на шею и привязал к седлу. Мать стала просить: «Дайте я его покормлю». Она полезла в погреб за лепешкой из мерзлой картошки, а они стегнули лошадей и пошли сразу рысью. И волокли меня так километров пять до поселка Веселый.

На первом допросе фашистский офицер задавал простые вопросы: твоя фамилия, твое имя, год рождения... Кто отец и мать? Переводчиком был молодой полицай. В конце допроса он сказал: «Сейчас ты пойдешь и убереешь комнату для пыток. Посмотри хорошенько там на скамейку...». Дали мне ведро с водой, веник, тряпку и повели...

Там я увидел страшную картину: посреди комнаты стояла широкая скамейка с прибитыми к ней ремнями. Три ремня — привязать человека за шею, за поясницу и за ноги. В углу стояли толстые березовые палки и ведро с водой, вода была красная. На полу лужи крови... Мочи... И кала...

Я носил и носил воду. Тряпка, которой мыл, все равно была красная.

Утром офицер позвал меня:

— Где оружие? С кем из подпольщиков держишь связь? Какие получал задания? — вопросы сыпались один за другим.

Я отговаривался, что ничего не знаю, еще малый, а на поле собирал не оружие, а мерзлую картошку.

— В погреб его, — приказал офицер солдату.

Меня спустили в погреб с холодной водой. Перед этим показали партизана, которого только что вытащили оттуда. Он не выдержал пытку и... утонул... А сейчас лежал на улице...

Воды было по горло... Я чувствовал, как бьется мое сердце и кровь в венах, как кровь согревает воду вокруг моего тела. Боялся: не потерять бы сознание. Не захлебнуться бы. Не утонуть.

Следующий допрос: ствол пистолета наставлен в мое ухо, выстрел — треснула сухая половица. Выстрелили в пол! Удар палкой по шейному позвонку, падаю... Надо мной кто-то стоит большой и тяжелый, от него пахнет колбасой и самогонкой. Меня тошнит, а рвать нечем. Слышу: «Сейчас вылижешь языком то, что от тебя на полу... Языком, понял... Понял, красный детеныш?!».

В камере не засыпал, а терял сознание от боли. То мне казалось, что я стою на школьной линейке и учительница Любовь Ивановна Лашкевич говорит: «Осенью придете в пятый класс, а сейчас до свидания, ребята. За лето подрастете все. Вася Бойкачев сейчас самый маленький, а станет самым большим». Любовь Ивановна улыбается...

А то мы идем по полю с отцом, ищем наших убитых солдат. Отец где-то впереди, а я нахожу под сосной человека... Не человека, а то, что от него осталось. Рук нет, ног нет.. Он еще живой и просит: «Пристрели, сынок...».

Старик, который лежит рядом в камере, будит меня:

— Не кричи, сынок.

— А что я кричу?

— Ты просишь, чтобы я тебя пристрелил...

Прошли десятки лет, а я все удивляюсь: живой?!

[illegible]

Как уходил отец из фронт, не запомнил?

Нам не сказали. Показали. Он отвед утро

Помню дорогу. Ехали машины в извозах мілізди

Приходы к дощике в деревне Городец Сошанско

за нами до конца войны и осталось. Я не помню, чтобы мы играли, во всяком случае, в первый год войны летних игр — у нас точно не было. Подростал маленький брат, он был на наших руках, потому что мама копала, сажала, шила. Оставит нас одних: надо вымыть ложки, тарелки, полы, дотопить печку, насобирать веток на завтра, запастись водой, полное ведро мы не могли поднять, носили по полведра. С вечера мама назначала: ты — старшая по кухне, а ты — старшая по брату. И каждая уже за свое дело отвечала.

Было голодно, но у нас появилась кошка, за ней — собака. Это были члены семьи, мы все делили с ними поровну. В другой раз не хватает на кошку и собаку, так тайком каждая из нас старалась припрятать им кусочек. И когда кошка погибла от осколка, это была такая потеря, что, казалось, перенести ее невозможно. Плакали два дня. Хоронили с выносом, со слезами. Поставили крестик, посадили цветы, поливали.

Я и сейчас, как вспомню наши слезы, сколько мы переплакали, не могу завести кошку. Дочь, когда была маленькая, просила купить собачку, а я не смогла.

А потом что-то с нами случилось. Мы перестали бояться смерти.

Наехали большие немецкие машины, выгнали всех из хат. Выстроили и считают: «Айн, цвай, драй...». Мама девятая, а десятого на расстрел. Нашего соседа... Мама держала на руках братика, так он у нее из рук и выпал.

Я запоминала запахи... Когда вижу сейчас в кино фашистов, слышу солдатский запах. Кожи, хорошего сукна, пота...

Сестра в тот день дежурила по брату, а я полола на огороде. В картошке нагнусь, меня не видно, знаете, в детстве все кажется большим и высоким. Когда заметила самолет, он уже кружился надо мной, я увидела совершенно отчетливо летчика. Его молодое лицо. Коротенькая автоматная очередь — бах-бах! Самолет второй раз разворачивается... Он не стремился меня убить, он

развлекался. Уже тогда, детским умом я это поняла. А на мне даже косыночки нет, нечем прикрыться...

Ну что это? Как объяснить? Интересно: жив ли этот летчик? И что он вспоминает?

Проходила та минута, когда решалось: погибнешь от пули или умрешь от страха, и наступала нейтральная полоса — одну беду пронесло, а о другой пока люди не знают — и было много смеха. Начинали поддевать, подшучивать друг над другом: кто и где прятался, как бежали, как пуля летела, да не попала. Я это хорошо помню. Даже мы, дети, соберемся и посмеиваемся друг над другом — кто испугался, а кто нет. Смеялись и плакали одновременно.

Я вспоминаю о войне, чтобы разобраться... А иначе — зачем?

У нас было две курицы. Когда им говорили: «Тихо — немцы!» — они молчали. Они сидели тихо-тихо вместе с нами под кроватью, ни одна не кокнет. Сколько я потом ни видела в цирке ручных кур, они меня не удивляли. А наши ко всему исправно неслись под кроватью в ящике — два яйца в день. Мы чувствовали себя такими богатыми!

Все-таки какую-то елку на Новый год мы ставили. Конечно, это мама помнила, что у нас детство. Из книжек вырезали яркие картинки, делали шарики из бумаги: один бочок белый, другой — черный, гирлянды из старых ниток. И в этот день особенно все улыбались друг другу, вместо подарков (их не было) мы оставляли под елкой записочки.

В своих записочках я писала маме: «Мамулечка, я тебя очень люблю. Очень! Очень!». Дарили друг другу слова.

Годы прошли... Я столько книг прочитала. А знаю о войне не намного больше, чем тогда, когда была ребенком.

I P R O J I C U B D I O T E P I D I O D I O I O N U I O I Q I A I S P I O T U I I S Z D O R O H I P I B I

Сейчас — инженер.

— Доченька, не будешь больше рассказывать?

— Буду!

— Нельзя рассказывать.

— Ему можно, а мне нет?

Тогда она достала прутик из веника, а стегать меня ей жалко. Поставила в угол:

— Не будешь? А то маму убьют.

— Прилетит на самолете наш дядя из леса и спасет тебя.

Так и уснула в углу...

Горит наш дом, меня выносят на руках сонную. Пальто и ботиночки сгорели. Я хожу в мамином пиджаке, он до самой земли.

Живем в земляночке. Вылезаю из землянки и слышу запах пшенной каши, заправленной салом. До сих пор для меня вкуснее еды нет, чем пшенная каша, заправленная салом. Кто-то кричит: «Наши пришли!». На огороде у тети Василисы — так говорит мама, а дети тетю Василису зовут «бабой Васей» — стоит походная солдатская кухня. В котелках нам раздают кашу, помню точно, что в котелках. Как мы ели, не знаю, ложек не было...

Мне дают кружку молока, а я уже забыла о нем за войну. Молоко налили в чашку, она у меня упала и разбилась. И я плачу. Все думают, что я плачу из-за разбитой чашки, а я плакала, что разлила молоко. Оно такое вкусное, и я боюсь, что мне его больше не дадут.

После войны начались болезни. Болели все, все дети. Болели больше, чем в войну. Непонятно, правда?

Эпидемия дифтерита... Дети умирают. Я убежала из-под замка хоронить соседских мальчиков-близнецов, с которыми дружила. Стою у гробиков в мамином пиджаке и с босыми ногами. Мама вытаскивает меня оттуда за руку. Они с бабушкой боятся, что и я заразилась дифтеритом. Нет, я только кашляю.

В деревне совсем не осталось детей. Играть на улице не с кем...

«Я ОТКРОЮ НОЧЬЮ ОКНО...

И ОТДАМ ЛИСТОЧКИ ВЕТРУ...»

|||||

Зоя Мажарова — 12 лет.

Сейчас — почтовый работник.

Я видела ангела...

Он появился... Пришел ко мне во сне, когда нас везли в Германию. В вагоне. Там ничего не было видно, ни кусочка неба. А он пришел...

Вы меня не боитесь? Моих слов? Я то голоса слышу, то ангела вижу... Начну рассказывать, не каждый хочет долго слушать. Меня в гости редко зовут. За праздничный стол. Даже соседи. Я рассказываю и рассказываю... Может, старая стала? Не могу остановиться...

Я начну с самого начала... Первый год войны я жила с мамой и папой. Жала и пахала. Косила и молотила. Все сдавали немцам: зерно, картошку, горох. Они приезжали осенью на лошадях. Ходили по дворам и собирали... как это? Забыла уже это слово — оброк. Наши полицаи тоже с ними ходили, они все были нам знакомые. Из соседней деревни. Так мы жили. Можно сказать, привыкли. Гитлер, говорили нам, уже под Москвой. Под Сталинградом.

Ночью приходили партизаны... А они рассказывали все по-другому: Сталин ни за что не отдаст Москву. И Сталинград не отдаст.

А мы пахали и жали. Вечером в выходной день и на праздники были у нас танцы. Танцевали на улице. Была гармонь.

Я помню, что случилось это в Вербное воскресенье... Наломали мы вербы, в церковь сходили. Собрались на улице. Ждем гармониста. Тут понаехали немцы. На больших крытых машинах, с овчарками. Окружили нас и командуют: залезайте в машины. Толкают прикладами. Кто-то плачет, кто-то кричит... Пока наши родители прибежали, мы уже — в машинах. Под брезентом. От нас недалеко была железнодорожная станция, привезли нас туда. Там уже стояли пустые вагоны наготове. Полицай меня тянет в вагон, а я вырываюсь. Он накрутил себе на руку мою косу:

— Не кричи, дура. Фюрер освобождает вас от Сталина.

— А что нам на той чужбине? — До этого нас уже агитировали, чтобы мы ехали в Германию. Обещали красивую жизнь.

— Поможете немецкому народу победить большевизм.

— Я к маме хочу.

— Будешь жить в доме под черепичной крышей и есть шоколадные конфеты.

— Я к маме...

О-о-о-о! Если бы человек знал свою судьбу, то он был до утра не дожил.

Погрузили и повезли. Ехали мы долго, но сколько, не знаю. В моем вагоне все были из нашей Витебской области. Из разных деревень. Все молодые и такие, как я, малолетки. Меня спрашивали:

— А ты как попалась?

— С танцев.

От голода и страха я теряла сознание. Лежу. Закрою глаза. И вот в первый раз тогда... Там... Увидела ангела... Ангел маленький, и крылышки у него маленькие. Как у птицы. А я вижу, что он хочет меня спасти. «Как он спасет меня, — думаю я, — если он такой маленький?» Это я в первый раз его увидела...

Жажда... Нас всех мучила жажда, все время хотелось пить. Все внутри пересыхало, да так, что язык вываливался наверх, я не могла его назад затолкать. Днем еха-

ли с вываленными языками. С открытым ртом. А ночью было немного легче.

Я буду век помнить... Я за жизнь не забуду...

В углу у нас стояли ведра, куда мы ходили по малой нужде, пока ехали. И одна девочка... Она поползла до этих ведер, обхватила одно ведро руками, припала к нему и начала пить. Пила большими глотками... А потом ее начало выворачивать... Она вырвет и опять ползет к ведру... Ее снова выворачивает...

О-о-о-о! Если бы человек знал свою судьбу наперед...

Я запомнила город Магдебург... Там нас постригли наголо и обмазали тело белым раствором. Для профилактики. Тело огнем от этого раствора, от этой жидкости горело. Кожа слазила. Не дай Бог! Я не хотела жить... Мне уже никого не было жалко: ни себя, ни маму с папой. А поднимешь глаза — кругом они стоят. С овчарками. У овчарок глаза страшные. Собака никогда человеку прямо в глаза не смотрит, отводит глаза, а эти смотрели. Смотрели нам прямо в глаза. Я не хотела жить... Со мной ехала знакомая девочка, я не знаю — как, но взяли ее вместе с мамой. Может, мама за ней в машину вскочила... Я не знаю...

Я буду век помнить... Я за жизнь не забуду...

Девочка эта стоит и плачет, потому что она, когда нас гнали на профилактику, потеряла маму. Мама у нее была молодая... Красивая мама... А мы ехали всегда в темноте: никто нам двери не открывал, вагоны товарные, без окон. Всю дорогу она не видела свою маму. Целый месяц. Стоит она, плачет, а какая-то старая женщина, тоже постриженная наголо, тянет к ней руки, хочет ее погладить. А она убегает от этой женщины, пока та не позвала: «Доченька...». И только по голосу она догадалась, что это ее мама.

О-о-о-о! Если бы... Если бы знать...

Все время ходили голодные. Я не запоминала, где была, куда везли. Названия, имена... От голода жили, как во сне...

Помню, что тягала какие-то ящики на патронно-пороховой фабрике. Там все пахло спичками. Запах дыма... Дыма нет, а дымом пахнет...

Помню, что доила коров у какого-то бауэра. Колола дрова... По двенадцать часов в сутки...

Кормили нас каторфельными очистками, турнепсом и давали чай с сахарином. Чай у меня отбирала моя напарница. Украинская девушка. Она была старше... сильная... Говорила: «Я должна выжить. У меня мама осталась дома одна».

Она пела в поле красивые украинские песни. Очень красивые.

Я... я за один раз... За один вечер все не расскажу. Не успею. Мое сердце не выдержит.

Где это? Я не помню... Но это уже было в лагере... Я, видимо, уже попала в Бухенвальд...

Там мы разгружали машины с мертвыми и укладывали их в штабеля, укладывали слоями — слой мертвых, слой просмоленных шпал. Один слой, второй слой... И так с утра до ночи, мы готовили костры. Костры из... ну, ясное дело... из трупов... Среди мертвых попадались еще живые, и они хотели что-то нам сказать. Какие-то слова. А нам нельзя было возле них останавливаться...

О-о-о-о! Жизнь человеческая... Я не знаю, легко ли жить дереву, всему живому, кого человек приручил. Скотине, птице... Но о человеке я все знаю...

Я хотела умереть, мне уже никого не было жалко... Уже собиралась — вот-вот, нож искала. Ко мне прилетал мой ангел... Это было не раз... Я не помню, какими словами он меня утешал, но слова были ласковые. Он меня долго уговаривал... Когда я рассказывала другим о своем ангеле, все думали, что я сошла с ума. Знакомых людей уже давно рядом не замечала, вокруг были одни чужие люди. Одни незнакомцы. Никто не хотел ни с кем знакомиться, потому что завтра или тот, или этот умрет. Зачем знакомиться? Но один раз я полюбила маленькую девочку... Машеньку... Она была беленькая и тихая. Мы

дружили с ней месяц. В лагере месяц — это целая жизнь, это — вечность. Она первая подошла ко мне:

— У тебя нет карандаша?

— Нет.

— А листочка бумаги?

— Тоже нет. А зачем тебе?

— Я знаю, что скоро умру, и хочу маме письмо написать.

В лагере это было не положено — ни карандаш, ни бумага. Но ей мы нашли. Она всем нравилась — такая беленькая и тихая. И голос тихий.

— Как ты пошлешь письмо? — спросила я.

— Я открою ночью окно... И отдам листочки ветру...

Может, ей было восемь лет, а может, и десять. Как угадаешь по косточкам? Там не люди ходили, а скелеты... Скоро она заболела, не могла вставать и ходить на работу. Я ее просила... В первый день я даже дотянула ее до дверей, она повисла на дверях, а идти не может. Два дня лежала, а на третий день за ней пришли и унесли на носилках. Выход из лагеря был один — через трубу... Сразу на небо...

Я буду век помнить... Я за жизнь не забуду...

Мы ночью с ней разговаривали:

— К тебе прилетает ангел? — Я хотела рассказать ей о своем ангеле.

— Нет. Ко мне мама приходит. Она всегда в белой блузке. Я помню эту ее блузку с вышитыми синими васильками.

Осенью... Я дожила до осени. Каким чудом? Я не знаю... Нас утром погнали на работу в поле. Собирали морковь, срезали капусту — я любила эту работу. Я уже давно не выходила в поле, не видела ничего зеленого. В лагере не видно неба, не видно земли из-за дыма. Труба высокая, черная. День и ночь из нее валил дым... В поле я увидела желтый цветочек, а я уже забыла, как цветы растут. Я погладила цветочек... И другие женщины его погладили. Мы знали, что сюда привозят

пепел из нашего крематория, а у каждого кто-то погиб. У кого сестра, у кого мама... А у меня Машенька...

Если бы я знала, что выживу, я спросила бы адрес ее мамы. Но я не думала...

Как я выжила, когда умирала сто раз? Не знаю... Это мой ангел меня спас. Уговорил. Он и сейчас появляется, он любит такую ночь, чтобы луна сильно в окно светила. Белым светом...

А вам не страшно со мной? Меня слушать...

О-о-о-о...

«РОЙТЕ ЗДЕСЬ...»

|||||

Володя Барсук — 12 лет.

Сейчас — председатель Белорусского
республиканского совета спортивного
общества «Спартак».

Сразу ушли в партизаны...

Всей семьей: папа, мама и мы с братом. Брат был старше. Ему выдали винтовку. Я завидовал, и он учил меня стрелять.

Однажды брат не вернулся с задания... Мама долго не хотела верить, что он погиб. В отряд передали, что группа партизан, которую окружили немцы, подорвала себя противотанковой миной, чтобы не попасть живыми в плен. У мамы было подозрение, что там оказался и наш Александр. Его с этой группой не посылали, но он мог ее встретить. Она пришла к командиру отряда и говорит:

— Я чувствую, что там и мой сын лежит. Разрешите мне туда съездить.

Ей дали несколько бойцов, и мы поехали. И вот что такое материнское сердце! Бойцы начинают рыть в одном углу, а мама показывает на другое место: «Ройте здесь...». Начинают рыть там и находят брата, его уже было не узнать, он весь почернел. Мама признала его по шву от аппендицита и по расческе в кармане.

Я всегда вспоминаю свою маму...

Помню, как закурил первый раз. Она увидела, позвала отца:

— Ты посмотри, что Вовка наш делает!

— А что делает?

— Курит.

Отец подошел ко мне, посмотрел:

— Пусть курит. После войны разберемся.

В войну все время вспоминалось, как мы жили до войны. Жили все вместе, несколько семей родственников в одном большом доме. Жили весело и дружно. Тетя Лена в день зарплаты покупала очень много пирожных и сыров, собирала всех детей и всех угощала. Погибла она, ее муж и сын. Погибли все мои дядя...

Кончилась война... Запомнил, как мы с мамой шли по улице, она несла картошку, ей дали немного на заводе, где она работала. Из строительных развалин подходит к нам пленный немец:

— Муттэр, битте, картофель...

Мама говорит:

— Я тебе не дам. Может, ты убил моего сына?

Немец опешил и молчит. Мама отошла... Потом вернулась, достала несколько картофелин и дает ему:

— На, ешь...

Теперь опешил я... Как? Зимой мы несколько раз катались на замерзших немецких трупах, их еще долго находили за городом. Катались, как на саночках... Могли пнуть мертвых ногой. Прыгали по ним. Мы продолжали их ненавидеть.

Мама учила меня... Это был мой первый послевоенный урок любви...

«ДЕДУШКУ ПОХОРОНИЛИ ПОД ОКНОМ...»

Варя Вырко — 6 лет.

Сейчас — ткачиха.

Я запомнила зиму, холодную зиму. Зимой убили нашего дедушку.

Его убили во дворе нашего дома. Возле ворот.

Мы похоронили его у себя под окном...

На кладбище не дали хоронить, потому что он ударил немца. Полицаи стояли возле калитки и никого к нам не пускали. Ни родственников, ни соседей. Мама и бабушка сами сбили гроб из каких-то ящиков. Они сами дедушку обмыли, хотя близким мыть не положено. Это должны делать чужие люди. Такие наши обычаи. Я помню разговоры об этом в доме... Подняли гроб. Донесли до ворот... Полицаи крикнули: «Поворачивайте назад! А то постреляем всех! Похороните, как собаку, на своем огороде».

И так три дня... Они дойдут до ворот, а их назад. Назад гонят...

На третий день бабушка начала долбить яму под окном... На улице сорок градусов мороза, бабушка всю жизнь вспоминала, что на улице было сорок градусов. Похоронить человека в такой мороз очень трудно. Мне, наверное, тогда было семь, нет, наверное, уже восемь лет, я ей помогала. Мама достала меня из ямы с плачем.

Там... На том месте, где лежит дедушка, выросла яблоня. Стоит вместо креста. Уже старая яблоня...

«...ЕЩЕ ЛОПАТКАМИ ПОХЛОПАЛИ,

ЧТОБЫ БЫЛО КРАСИВО»

||

Леонид Шакинко — 12 лет.

Сейчас — художник.

Как нас расстреливали...

Согнали к бригадирской хате... Всю деревню... Теплый день, трава теплая. Кто стоял, а кто сидел. Женщины в белых платках, дети босиком. На этом месте, куда нас согнали, всегда собирались в праздники. Пели песни. На зажинки, дожинки. И тоже — кто сидел, а кто стоял. Митинги там проводили.

Теперь... Никто не плакал... Не говорил... Даже тогда это меня поразило. Читал, что обычно люди плачут, кричат, предчувствуя смерть — ни одной слезинки не помню. Даже слезиночки... Сейчас, когда я об этом вспоминаю, начинаю думать: может, я оглох в те минуты и ничего не слышал? Почему не было слез?

Дети сбились в отдельную стайку, хотя никто нас не отделял от взрослых. Почему-то матери наши не держали нас возле себя. Почему? До сих пор не знаю. Обычно мы, мальчишки, мало с девчонками дружбу водили, принято было: девчонка — значит, надо отлупить, за косички потаскать. Тут все прижались друг к другу. Понимаете, даже собаки дворовые не лаяли.

В нескольких шагах от нас поставили пулемет, возле него сели два эсэсовских солдата, о чем-то они стали спокойно разговаривать, шутили и даже рассмеялись.

Мне запомнились именно такие детали...

Подошел офицер молодой. И переводчик перевел:

— Господин офицер приказывает назвать имена тех, кто держит связь с партизанами. Будете молчать, расстреляем всех.

Люди как стояли или сидели, так и продолжали стоять и сидеть.

— Три минуты — и вас расстреляют, — переводчик сказал и выбросил вверх три пальца.

Теперь я смотрел все время на его руку.

— Две минуты — и вас расстреляют...

Жались теснее друг к другу, кто-то что-то кому-то говорил, но не словами, а движением руки, глазами. Я, например, ясно себе представлял, что нас расстреляют и нас больше не будет.

— Последняя минута — и вам капут...

Я видел, как солдат снял затвор, зарядил ленту и взял пулемет в руки. До кого было два метра, до кого — десять...

Из тех, что стояли впереди, отсчитали четырнадцать человек. Дали им лопаты и приказали копать яму. А нас подогнали ближе, смотреть, как они копают... Копали они быстро-быстро. Летела пыль. Я помню, что яма была большая, глубокая, на полный человеческий рост. Такие ямы копают под дом, под фундамент.

Расстреливали по три человека. Поставят у края ямы — и в упор. Остальные смотрят... Не помню, чтобы с детьми родители прощались или дети с родителями. Одна мать подняла подол платья и закрыла дочке глаза. Но даже маленькие дети не плакали...

Расстреляли четырнадцать человек и стали закапывать яму. А мы опять стояли и смотрели, как забрасывают землей, как утаптывают сапогами. Сверху еще лопатками похлопали, чтобы было красиво. Аккуратно. Понимаете, даже углы срезали, почистили. Один пожилой немец вытирал платком пот со лба, как будто он в поле работал. К нему подбежала маленькая собачка...

Никто не мог понять — откуда? Чья она? Он ее погладил...

Через двадцать дней разрешили убитых раскопать. Взять в семьи и похоронить. Вот тогда закричали бабы, заголосила вся деревня. Запричитала.

Я много раз натягивал холст. Хотел это нарисовать... А получалось другое: деревья, трава...

[illegible]

Сейчас — портниха.

Но война мне представлялась так: большой черный лес, и там какая-то война. Что-то такое страшное. Почему в лесу? Потому что в сказках самое страшное всегда происходило в лесу.

Через наши Бельниччи шли и шли войска, тогда я не понимала, что это отступление. Нас бросают. Помню, что в доме было много военных людей, они брали меня на руки. Жалели. Хотели угостить, а угостить было нечем. Утром, когда они уходили, в доме на подоконниках и везде оставалось много патронов. И сорванные красные лычки. Знаки отличия. Я с ними играл... Я не понимала, какие это игрушки...

А это уже тетя мне рассказывала... Когда немцы вошли в наш город, у них был список коммунистов. И в этом списке были наш отец и учитель, который жил напротив. У них был сын, я с ним дружила, мы называли его Игрушка. А его, наверное, звали Игорь, так я сейчас думаю. Потому что в памяти у меня осталось то ли имя, то ли дразнилка — Игрушка. Наших пап увели вместе...

На моих глазах... Маму расстреляли на улице. Когда она упала, раскрылось пальто, оно стало красным, и снег вокруг мамы стал красным...

А потом нас долго держали в каком-то сарае. Было очень страшно, мы плакали, кричали. У меня еще были

сестра и брат — два с половиной годика и год, а мне четыре года, я — самая старшая. Маленькие, мы уже знали, когда стреляют снаряды, что это не самолет бомбит, а именно артиллерия бьет. По звуку узнавали — наши или не наш самолет летит, далеко или близко от нас упадет бомба. Было страшно, очень страшно, а голову спрячешь, и уже не страшно, главное — не видеть.

Дальше ехали куда-то на санях, все трое, в какой-то деревне нас разобрали женщины по хатам — кто кого. Братика долго никто не хотел брать, а он плакал: «А меня?». Мы с сестрой испугались, что нас разделяют и теперь не будем вместе. Всегда жили вместе.

Однажды меня чуть не съела немецкая овчарка. Я сидела у окошка, по улице ехали немцы, с ними две большие овчарки. Одна из них бросилась в окно и разбила стекло. Меня успели схватить с подоконника, но я так испугалась, что с того дня стала заикаться. И даже сейчас боюсь больших собак.

...После войны отдали нас в детский дом, а он находился недалеко от шоссе. Немецких пленных было много, они шли по этому шоссе сутками. Мы бросали в них землей, камнями. Конвойные гоняли нас и ругали.

В детдоме все ждали родителей, что они придут и заберут домой. Появлялся незнакомый мужчина или незнакомая женщина, все бежали к ним и кричали:

— Мой папа.... Моя мама...

— Нет, это мой папа!

— За мной пришли!

— Нет, это за мной пришли!

Очень завидовали тем, кого родители находили. А они не давали подойти к своим мамам и папам: «Не трогай, это моя мама» или: «Не трогай, это мой папа». Они не отпускали их от себя ни на минуту, боялись, как бы кто-нибудь не отнял. Или от страха: вдруг опять куда-нибудь уйдут.

Учились мы в школе вместе — детдомовцы и обыкновенные дети. Тогда все плохо жили, но ребенок при-

дет из дома, у него в холщовой сумке или кусочек хлеба, или картошина, а у нас — ничего. Все мы были одинаково одеты, пока маленькие, то ничего, а когда подросли, переживали. В двенадцать, тринадцать лет хотелось красивое платье, туфельки, а мы все носили ботинки. И мальчики, и девочки. Хотелось яркую ленточку в косы, цветные карандаши хотелось. И портфель хотелось. Хотелось конфет, а конфеты у нас были только на Новый год — леденцы. Дали нам вдоволь черного хлеба, мы сосали его, как конфеты, таким он нам казался вкусным.

Была у нас одна молодая учительница, а остальные пожилые женщины, так все ее очень любили. Боготворили. Уроки не начинались, пока она не приходила в школу. Сидим у окна и ждем: «Иде-е-ет! И-и-и...». Она входила в класс, и каждый хотел ее потрогать, каждый думал: «Вот такая моя мама...»

Мечтала: вырасту, стану работать и куплю себе много платьев — красное, зеленое, в горошек, с бантиком. С бантиком — обязательно! В седьмом классе спросили: на кого хочешь учиться, а я давно решила — на портниху.

Шью платья...

[illegible]

Сейчас — работник телевидения.

В деревне, где стоял наш партизанский отряд, умер старик, как раз в его хате я жил. Когда мы его хоронили, зашел мальчишка лет семи и спрашивает:

Ему ответили:

Мальчишка страшно удивился:

Мальчику было семь лет, но уже два года он слышал, что умирают только тогда, когда стреляют.

Я начал свой рассказ с партизанского отряда, куда попал не сразу. К концу второго года войны. Я пропустил, как мы с мамой за неделю до войны приехали в Минск, как она отвезла меня в пионерский лагерь под Минском...

144

В тот день зарядки не было, над нами ревели самолеты... Я поднял глаза и увидел, как от самолета отделяются черные точки, мы еще ничего не знали о бомбах. Рядом с пионерским лагерем была железная дорога, и я пошел по ней в Минск. Расчет был прост: недалеко от мединститута, где сейчас работает мама, железнодорожный вокзал, если я пойду по рельсам, то приду к маме. Позвал с собой мальчишку, который жил недалеко от вокзала, тот был намного младше меня и очень плакал, шел медленно, а я ходить любил, с отцом мы обходили все окрестности родного Ленинграда. Конечно, я злился... Но до Минского вокзала мы все-таки добрались, дошли до Западного моста, там была очередная бомбежка, и я его потерял.

В мединституте мамы не было, недалеко жил профессор Голуб, с которым мама теперь работала, я нашел его квартиру. Но она была пустая... Через много лет я узнал, что произошло: как только стали бомбить город, мама села на попутную машину и поехала за мной по шоссе в Ратомку. Она приехала туда и увидела разбитый лагерь...

Из города все куда-то уходили. Я решил, что до Ленинграда дальше, чем до Москвы, в Ленинграде у меня папа, но он на фронте, а в Москве у меня тетушки, они-то никуда не уедут. Не уедут, потому что живут в Москве... В нашей столице... В дороге прибил к одной женщине с девочкой. Женщина незнакомая, но она поняла, что я один и у меня ничего нет, я голоден. Она меня позвала: «Идем к нам, вместе поедем».

Я помню, что тогда впервые в жизни ел лук с салом. Сначала я морщился, потом все-таки съел. Если началась бомбежка, я всегда следил: где эта женщина со своей девочкой? Вечером выбрали канаву и расположились отдохнуть. Бомбили нас непрерывно. Женщина оглянулась и вскрикнула... Я тоже приподнялся и посмотрел в ту сторону, в которую только что смотрела она, увидел, как летит на бреющем полете самолет и рядом

с мотором у него на плоскостях поблескивают огоньки. И по направлению этих огоньков вдоль дороги поднимаются фонтанчики пыли. Совершенно инстинктивно я рухнул на дно канавы. Пулеметная очередь простучала над головой, и самолет ушел дальше. Я поднимаюсь и вижу: лежит эта женщина на скате канавы, а вместо лица у нее кровавое пятно. Вот здесь я испугался, выскочил из канавы и бросился бежать. С тех пор, и даже сейчас, меня мучает вопрос: а что с той девочкой? Больше я ее не встретил...

Дошел до какой-то деревни... На улице под деревьями лежали немецкие раненые. Так я впервые увидел немцев...

Жителей деревни выгоняли из домов, заставляли носить воду, немецкие санитары грели ее на костре в больших ведрах. Утром они положили раненых на машины и в каждую машину посадили одного-двух мальчиков. Нам дали фляги с водой и показали, как мы должны помогать: кому смочить платок и положить на голову, кому смочить губы. Раненый просит: «Вассер... Вассер...». Прикладываешь флягу к его губам, и тебя бьет дрожь. Не определяю и сейчас чувство, которое испытывал тогда. Брезгливость? Нет. Ненависть? Тоже нет. Тут было все вместе. И жалость тоже... Ненависть в человеке тоже формируется, она не изначальна. В школе ведь нас учили добру, учили любить. Опять забегу вперед... Когда первый немец ударил меня, я не боль почувствовал, испытал другое. Как это он меня ударил, по какому праву он меня ударил? Это было потрясение.

Опять я вернулся в Минск...

И подружился с Кимом. Познакомились мы с ним на улице. На мой вопрос:

— С кем ты живешь?

Он ответил:

— Ни с кем.

Узнал, что он тоже потерялся, и предложил:

— Давай жить вместе.

— Давай, — обрадовался он, потому что жить ему было негде.

А я жил в брошенной квартире профессора Голуба.

Как-то мы с Кимом увидели, что по улице шел парень постарше нас и нес подставку для чистки обуви. Прослушали его консультацию: какой нужен ящик, как делать гуталин. Для гуталина нужно было достать сажи, а ее в городе было полно, хоть отбавляй, и смешать с каким-нибудь маслом. Одним словом, сделали какую-то вонючую смесь, но она была черного цвета. И если ее аккуратно размазать, то она даже блестела.

Однажды подошел ко мне немец, поставил ногу на ящик, сапоги были грязные, причем грязь старая, засохшая. Поскольку мы уже сталкивались с такой обувью, то у меня был специальный скребок, чтобы сначала соскрести грязь, а потом уже нанести крем. Я взял скребок, провел им только два раза, и ему это не понравилось. Он ударил ногой по ящику, а меня по лицу...

Меня вообще никогда в жизни не били. Мальчишеские драки не в счет, их в ленинградских школах было сколько хотите. Но никто из взрослых меня до этого ни разу не ударил.

Ким увидел мое лицо и закричал:

— Не смей так на него смотреть! Не смей! Он убьет тебя...

Тогда же мы впервые столкнулись с тем, что на улицах появились люди с желтыми нашивками на пальто, на пиджаках. Услышали про гетто... Слово это все произносили шепотом... Ким был еврейский мальчик, но он постригся наголо, и мы решили выдавать его за татарина. Когда волосы стали отрастать, вьющиеся черные волосы, кто мог поверить, что он татарин? Я переживал за друга, ночью проснусь, увижу его кудрявую голову и не могу заснуть: надо что-то придумать, чтобы Кима не забрали в гетто.

Мы нашли машинку, и я еще раз постриг Кима. Уже начались заморозки, чистить обувь зимой бессмыслен-

но. У нас новый план. Немецкое командование организовало в городе гостиницу для прибывавших офицеров. Приезжали они с большими рюкзаками, чемоданами, а до гостиницы было не близко. Каким-то чудом мы раздобыли большие сани и караулили на вокзале поезда. Поезд придет, нагрузим вещи двух-трех человек на эти сани и везем на себе через весь город. За это нам давали или хлеб, или сигареты, а за сигареты на базаре можно было выменять все, любую еду.

А тогда, когда забрали Кима, поезд пришел поздно ночью, с большим опозданием. Мы очень промерзли, но с вокзала уйти не могли, уже действовал комендантский час. Из самого здания нас выгнали, ждали на улице. Наконец поезд прибыл, мы загрузили сани и отправились в путь. Тянем, ремни режут, а они нас подгоняют: «Шнель! Шнель!». Быстро идти мы не могли, они стали нас бить.

Внесли вещи в гостиницу, ждем, когда с нами считаются. Один приказал: «Убирайтесь!» — и толкнул Кима, у Кима слетела с головы шапка. Тогда они заорали: «Юда!». Схватили его...

Через несколько дней я узнал, что Ким в гетто. Пошел туда... Целыми днями кружил вокруг... Несколько раз видел его через проволоку. Приносил хлеб, картошку, морковку. Постовой повернется спиной, идет до угла, тогда я бросаю картофелину. Ким пройдет, поднимет...

Жил я в нескольких километрах от гетто, но по ночам оттуда неслись такие крики, что их слышали во всем городе, я просыпался: жив ли Ким? Как мне его спасти? После очередного погрома пришел на условленное место, мне показали знаком: Кима нет!

Я был несчастен... Но я еще надеялся...

Однажды утром кто-то постучался ко мне. Я вскочил... И первая мысль: Ким! Нет, это был не он. Меня разбудил мальчишка с нижнего этажа, он сказал: «Пойдем со мной на улицу, там лежат убитые. Поищем моего отца». Мы с ним вышли, комендантский час уже кон-

чился, но прохожих почти не было. Улицу замело легким снегом, припорошенные этим снегом, через пятнадцать-двадцать метров лежали расстрелянные наши военнопленные. Их гнали через город ночью, а тех, кто отставал, расстреливали в затылок. Все они лежали лицом вниз.

Мальчишка не мог дотронуться до убитых, он боялся, что где-то здесь его отец. И вот тогда я себя поймал на мысли, что у меня почему-то нет страха перед смертью. Мысленно с ней уже сжился. Я их переворачивал, а он смотрел каждому в лицо. Так мы прошли всю улицу...

У меня с тех пор... больше нет слез... Нет их даже тогда, когда, может быть, и надо. Я не умею плакать. За всю войну я плакал один раз. Когда погибла наша партизанская медсестра Наташа... Она любила стихи, и я любил стихи. Она любила розы, и я любил розы, таскал ей летом букеты шиповника.

Как-то она спросила меня:

— Сколько классов ты окончил до войны?

— Четыре...

— Кончится война, пойдешь в суворовское училище?

До войны мне нравилась отцовская военная форма, мне тоже хотелось носить оружие. Но я ей ответил, что нет, военным не буду.

Мертвая, она лежала на сосновых ветках возле палатки, а я сидел над ней и плакал. Первый раз плакал, видя убитого человека.

...Я встретился с мамой... Когда мы встретились, она только смотрела на меня, даже не гладила и повторяла:

— Ты? Неужели ты?

Прошло много дней, прежде чем мы смогли рассказывать друг другу о войне...

носила, до войны были такие детские лифчики. Мама даст нам узелок с едой, а в лифчик положит мне листовки. Листовки были маленькие, на одном листочке из школьной тетради, написанные от руки. Мама ведет нас до ворот, плачет и учит: «Ни к кому не подходите, только к отцу». Потом стоит, ждет нас обратно, пока не увидит, что живые возвращаемся.

Страх не помню... Раз мама сказала, что надо идти, мы идем. Мама сказала — это главное. Страх был не послушаться маму, не сделать то, что она просила. Мама была у нас любимая. Мы даже не представляли, как это можно ее не послушаться.

Холодно, заберемся все на печь, у нас был большой тулуп, мы все — под тулуп. Чтобы печь вытопить, бежали на станцию воровать уголь. На коленках ползешь, чтобы постовой не заметил, ползешь и локтями себе помогаешь. Ведро угля принесем, а сами — как трубочисты: и коленки, и локти, и нос, и лоб — черные.

Ночью все ложились вместе, никто не хотел спать один. Было нас четверо: я, две мои сестрички и четырехлетний Борис, которого мама усыновила. Это потом мы узнали, что Борис — сын подпольщицы Лели Ревинской, маминой подруги. А тогда мама нам сказала, что есть маленький мальчик, он часто остается дома один, и ему страшно, у него нет еды. Она хотела, чтобы мы его приняли и полюбили. Понимала — это не просто. Дети могут и не полюбить. И сделала умно, она не привела Бориса, а послала нас за ним: «Пойдите и приведите этого мальчика и будете с ним дружить». Мы пошли и привели.

У Бориса было много книг с красивыми рисунками, все эти книги он взял с собой, мы помогали ему нести. Сядем на печке, и он нам сказки рассказывает. И так он нам понравился, что был роднее родного, может, потому что сказок много знал. Мы всем во дворе говорили: «Вы его не обижайте».

Мы все беленькие, а Борис черный. У его мамы была толстая черная коса, и она, когда к нам приходила, по-

дарила мне зеркальце. Зеркальце я спрятала и решила, что буду по утрам в него смотреть, и у меня тоже будет такая коса.

Бегаем по двору, дети громко кричат:

— А Борис чей?

— Борис наш.

— А почему вы все беленькие, а он черный?

— Потому что мы — девочки, а он — мальчик, — это мама так научила нас отвечать.

Борис на самом деле был наш, потому что маму его убили и папу убили, а его хотели бросить в гетто. Откуда-то мы это уже знали. Мама наша боялась, чтобы его не опознали и не забрали. Пойдем куда-нибудь, мы все зовем нашу маму мамой, а Борис — тетей. Она его просит:

— Скажи — мама, — кусочек хлеба ему дает.

Он хлеб возьмет, отойдет:

— Тетя, спасибо.

И слезы у него капаят, капаят...

С НЕМЕЦКИМИ МАЛЬЧИШКАМИ...»

Вася Сигалев-Князев — 6 лет.

Сейчас — спортивный тренер.

Это был ранний рассвет...

Начали стрелять, отец вскочил с постели, подбежал к двери, открыл и вскрикнул. Мы думали, что он испугался, а он упал, в него попала разрывная пуля.

Мама нашла какие-то тряпки, свет не зажигала, потому что стрелять продолжали. Отец стонал, переворачивался. Из окна проступал слабый свет, он падал ему на лицо...

— Ложитесь на пол, — сказала мама.

И вдруг заголосила навзрыд. Мы бросились с криком к ней, я поскользнулся в отцовской крови и упал. Почувствовал запах крови и какой-то еще тяжелый запах — отцу разорвало кишечник...

Помню большой длинный гроб, а отец был невысокий. «Зачем ему такой большой гроб?» — думал я. Потом решил, что у отца тяжелая рана и ему не так будет больно. Так и объяснил соседскому мальчику.

Через некоторое время тоже рано утром пришли немцы и забрали нас с мамой. Поставили нас на площади перед заводом, на этом заводе работал до войны наш отец (это в поселке Смоловка Витебской области). Стояли мы и еще две партизанские семьи, детей было больше, чем взрослых. А у мамы, все знали, большая родня: пятеро братьев и пятеро сестер, и все они в партизанах.

Маму начали бить, весь поселок смотрел, как ее били, и мы. Какая-то женщина все пригибала мою голову к земле: «Опусти глаза. Опусти глаза». А я выворачивался из ее рук. Я смотрел...

За поселком был пригорок лесистый, детей оставили, а взрослых повели туда. Я цеплялся за маму, она отталкивала меня и кричала: «Прощайте, дети!». Помню, как от ветра поднялось мамино платье, когда она летела в траншею...

...Пришли наши, я увидел офицеров в погонах. Мне это очень понравилось, я взял и сделал себе погоны из березовой коры, углем нарисовал лычки. Прикрепил на свой деревенский армяк, который мне пошила тетя, в лаптях — и так пришел и доложил капитану Иванкину (от тети узнал его фамилию), что такой-то, Вася Сигалев, хочет бить немцев с вами вместе. Они сначала пошутили, посмеялись, потом спросили у тети, где мои родители. Когда узнали, что я сирота, за ночь солдаты сшили мне сапожки из плащ-палатки, укоротили шинель, подвернули шапку, подвернули наполовину погоны. Кто-то даже соорудил офицерскую портупею. Так я стал сыном двести третьего отдельного отряда разминирования. Зачислили меня на должность связного. Старался я очень, но ни писать, ни читать не умел. Когда еще была мама, мой дядя попросил меня: «Сходи к железнодорожному мосту и сосчитай, сколько там немцев». Как я сосчитаю? Насыпал он мне жменьку жита в карман, и я по одному зернышку перекладывал из правого кармана в левый. А дядя уже эти зернышки потом считал.

— Война войной, а читать и писать тебе надо учиться, — сказал парторг Шапошников.

Солдаты раздобыли бумагу, он сам сделал мне самодельную тетрадку и написал на ней таблицу умножения, написал алфавит. Я учил и отвечал ему. Принесет пустой ящик от снарядов, разлунет и говорит: «Пиши».

В Германии нас уже было трое мальчишек — Володя Почивадов, Витя Баринков и я. Володе — четырнадцать лет, Вите — семь, мне к этому времени — девять. Мы

очень дружили, как братья, потому что у нас не было больше никого.

Но когда я увидел, что Витя Баринов играет «в войну» с немецкими мальчишками и отдал одному свою пилотку со звездочкой, я закричал, что он мне больше не брат. Никогда больше не будет мне братом! Схватил свой трофейный пистолет и приказал ему следовать в распоряжение части. И там сам посадил его на гауптвахту в какой-то чулан. Он был рядовой, а я младший сержант, то есть я вел себя как старший по званию.

Кто-то сказал об этом капитану Иванкину. Тот позвал меня:

— Где рядовой Витя Баринов?

— Рядовой Баринов на гауптвахте, — доложил я.

Капитан долго мне объяснял, что дети все хорошие, они ни в чем не виноваты, что русские и немецкие дети теперь, когда кончается война, будут дружить.

Кончилась война, мне вручили три медали: «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией». Наша часть вернулась в Житковичи, здесь мы разминировали поля. Случайно я узнал, что мой старший брат жив и живет в Вилейке.

С направлением в суворовское училище сбежал в Вилейку. Нашел там брата, скоро к нам приехала сестра. У нас уже была семья. С жильем мы устроились на каком-то чердаке. А с питанием было туго, пока я не надел форму, свои три медали и не пошел в горисполком.

Прихожу. Нашел дверь с табличкой: «Председатель». Постучался. Зашел и доложил по всей форме:

— Младший сержант Сигалев пришел ходатайствовать себе гособеспечение.

Председатель улыбнулся и поднялся мне навстречу.

— А где живешь? — спросил.

Я сказал:

— На чердаке, — и дал адрес.

Вечером нам привезли мешок капусты, через день — мешок картошки.

Однажды председатель встретил меня на улице и дал адрес:

— Вечером зайди, там тебя ждут.

Встретила меня там женщина, это была его жена. Звали ее Нина Максимовна, а его Алексей Михайлович. Меня накормили, я помылся. Из своего солдатского уже вырос, мне дали пару рубашек.

Стал я к ним приходить, сначала редко, затем чаще, потом каждый день. Военный патруль встретит и спрашивает:

— Пацан, чьи медали нацепил? Где твой отец?

— У меня нет отца...

Приходилось носить с собой удостоверение.

Когда Алексей Михайлович спросил:

— Хочешь быть нашим сыном?

Ответил:

— Хочу. Очень хочу.

Они меня усыновили, дали свою фамилию — Князев.

Долго я не мог выговорить «папа» и «мама». А Нина Максимовна сразу полюбила меня, жалела. Если что-то доставали сладкое, то это для меня. Ей хотелось меня погладить. Приласкать. А я сладкого не любил, потому что никогда его не ел. До войны мы жили небогато, а в армии привык ко всему солдатскому. И был я неласковым мальчиком, потому что ласки особой давно не видел, жил среди мужчин. Я даже ласковых слов не знал.

Ночью один раз проснулся и услышал, как Нина Максимовна плакала за перегородкой. Она, видно, плакала и раньше, но так, что я не видел и не слышал. Она плакала и жаловалась: он никогда не будет нам родным, не сможет забыть своих родителей... Свою кровь... В нем мало детского, и он неласковый. Я подошел тихонько к ней и обнял за шею: «Не плачьте, мама». Она перестала плакать, я увидел ее искрящиеся глаза. Впервые я назвал ее «мама». Прошло время, и отца назвал папой, одно только осталось на всю жизнь, я говорил им «вы».

Они не делали из меня домашнего мальчика, и за это я им благодарен. У меня были четкие обязанности: убрать дом, вытряхнуть половики, наносить дров из сарая, вытопить печку после школы. Без них я не получил бы высшего образования. Это они внушили мне, что надо учиться, а после войны надо учиться хорошо. Только хорошо.

Еще в армии, когда наша часть стояла в Житковичах, Володе Почивадлову, Вите Баринову и мне командир приказал учиться. Мы трое сели за одну парту, во второй класс. У нас было при себе оружие, и мы никого не признавали. Не хотели подчиняться гражданским учителям: как он может нам приказывать, если он не в военной форме? Авторитетом для нас были только командиры. Входит учитель, весь класс встает, мы сидим.

— Почему вы сидите?

— А мы не будем вам отвечать. Мы подчиняемся только командиру.

На большой перемене мы строили всех учеников по-взводно и занимались маршировкой, разучивали военные песни.

Директор школы пришел в часть и рассказал замполиту как мы себя ведем. Нас посадили на гауптвахту и разжаловали. Вовка Почивадлов был старшим сержантом — стал сержантом, я был сержантом — стал младшим сержантом, Витька Баринов был младшим сержантом — стал ефрейтором. Командир долго с каждым из нас разговаривал, внушал, что четверки и пятерки по арифметике сейчас для нас важнее медалей. Наше боевое задание — учиться хорошо. Мы хотели стрелять, а нас убеждали, что надо учиться.

Но все равно в школу мы ходили с медалями. У меня сохранилась фотография: я сижу с медалями за партой и рисую для нашей пионерской газеты.

Когда я приносил из школы «пятерку», кричал с порога:

— Мама, пятерка!

И мне так легко было говорить «мама»...

[illegible]

Сейчас — радиоконструктор.

Мы идем по дороге. Идти нам тяжело: мама больная, мы с сестрой маленькие: сестре — три годика, мне — два. Как нас спасти?

Мама сказала: «Пойдешь и откроешь вон ту дверь». Я так и сделала. Но эвакуироваться этот детдом не успел...

158

помню, а вот страх, что меня за что-то могут побить, был. И не могу вспомнить наших игр... Баловства... Мы много двигались — убирали, мыли, но это была работа. А детского в памяти нет. Смеха... Капризов...

Нас никто никогда не ласкал, но о маме я не плакала. Рядом со мной ни у кого не было мамы. Мы даже не вспоминали это слово. Забыли.

Кормили нас так: за весь день дадут миску затирки и кусочек хлеба. А я не любила затирку и отдавала свою порцию девочке, а она давала мне свой кусочек хлеба. У нас была такая дружба. Никто на это не обращал внимания, все было хорошо, пока не заметила наш обмен одна воспитательница. Меня поставили в угол на колени. И я долго стояла на коленях одна. В пустом большом зале... До сего времени, когда слышу слово «затирка», мне сразу хочется плакать. Когда стала взрослой, не могла понять: откуда, почему это слово вызывает такое отвращение? Я забыла о детдоме...

Мне было уже шестнадцать лет, нет, наверное, семнадцать... Я встретила свою воспитательницу из детдома. Сидит в автобусе женщина... Смотрю на нее, и меня тянет к ней магнитом, так тянет, что проехала свою остановку. Не знаю я этой женщины, не помню, а меня к ней тянет. Наконец не выдержала, расплакалась и злюсь на себя: ну чего я так? Смотрела на нее, как на картину, которую я когда-то видела, но забыла, и хочется мне еще раз на нее посмотреть. И что-то такое родное, может, похожее даже на маму... ближе мамы, а кто — не знаю. И вот эта злость и слезы — как хлынули из меня! Я отвернулась, пошла вперед к выходу, стою и плачу.

Женщина все видела, подошла ко мне и говорит:

— Анечка, не плачь.

А у меня еще больше слез от этих ее слов.

— Да я вас не знаю.

— Ты посмотри на меня лучше!

— Честное слово, я вас не знаю, — и реву.

Вывела она меня из автобуса:

— Посмотри на меня хорошенько, ты все вспомнишь. Я же Степанида Ивановна...

А я на своем стою:

— Я вас не знаю. Я вас никогда не встречала.

— Ты помнишь детский дом?

— Какой детский дом? Вы, наверное, меня с кем-то путаете.

— Нет, ты вспомни детский дом... Я твоя воспитательница.

— У меня папа погиб, а мама у меня есть. Какой детский дом?

Я даже забыла детский дом, потому что жила уже с мамой. Дома. Эта женщина меня тихонько погладила по голове, а все равно ручьем слезы текут. И тогда она говорит:

— Вот тебе мой телефон... Позвонишь, если захочешь узнать про себя. Я тебя хорошо помню. Ты была у нас самая маленькая...

Она пошла, а я с места сдвинуться не могу. Мне, конечно, надо было побежать за ней, порасспросить. Я не побежала и не догнала.

Почему я этого не сделала? Я была дикарка, просто дикарка, для меня люди — это что-то чужое, опасное, разговаривать ни с кем я не умела. Одна сидела часами, сама с собой разговаривала. Всего боялась.

Мама меня нашла только в сорок шестом году... Мне было восемь лет. Вместе с сестрой их угнали в Германию, там они как-то выжили, когда вернулись, мама обыскала все детские дома в Беларуси, уже не надеялась меня найти. А я была рядом... В Минске. Но, видно, потерялась записочка, которую мама мне дала, и меня записали на другую фамилию. Мама пересмотрела всех девочек с именем Аня в минских детдомах. Она определила, что я ее дочь, по глазам, по высокому росту. Неделью она приходила и смотрела на меня: ее Анечка или не ее? Имя у меня осталось настоящее. Когда я видела маму, мной овладевали непонятные чувства, я без причины начинала плакать. Нет, это не были воспоминания о чем-то

знакомом, что-то другое... Вокруг говорили: «Мама. Твоя мама». И открывался какой-то новый мир — мама! Распахивалась таинственная дверь... Я ничего не знала о тех людях, которых зовут «мама» и «папа». Мне было страшно, а другие радовались. Все мне улыбались.

Мама позвала с собой нашу довоенную соседку:

— Найди тут мою Анечку.

Соседка сразу показала на меня:

— Вот твоя Анька! Не сомневайся, бери. Твои глаза, твое лицо...

Вечером ко мне подошла воспитательница:

— Тебя завтра заберут, ты уедешь.

Мне было страшно...

Утром меня мыли, одевали, от всех я видела ласку. Наша ворчливая старая нянечка улыбалась мне. Я поняла, что я с ними последний день, они со мной прощаются. Мне даже вдруг не захотелось куда-нибудь уходить. Переодели меня во все то, что мама принесла: в мамины ботиночки, в мамино платье, и этим я уже отделилась от своих детдомовских подружек... Стояла среди них — как чужая. И они рассматривали меня, будто первый раз видели.

Самым большим впечатлением дома стало радио. Приемников еще не было, в углу висела черная тарелка, и оттуда доносился звук. Каждую минуту я смотрела туда, ем — туда смотрю, спать ложусь — туда смотрю. Откуда там люди, как они туда вместились? И никто мне не смог объяснить, я ведь была необщительная. В детдоме я дружила с Томочкой, она мне нравилась, она была веселая, часто улыбалась, а я никому не нравилась, потому что я никогда не улыбалась. Я стала улыбаться в пятнадцать-шестнадцать лет. В школе я прятала улыбку, чтобы не видели, как я улыбаюсь, мне было стыдно. Не умела общаться даже с девочками, они на переменке разговаривают о чем угодно, а я ничего не могу сказать. Сажу и молчу.

Мама забрала меня из детдома, и через пару дней в воскресенье мы пошли с ней на рынок. Там я увидела милиционера и забилась в истерику, закричала:

— Мама, немцы! — бросилась бежать.

Мама — за мной, люди обступили меня, а я вся трясусь:

— Немцы!

После этого два дня не выходила на улицу. Мама мне объясняла, что это милиционер, он охраняет нас, порядок на улице, а меня не убедить. Ну никак... В черных шинелях к нам приезжали в детдом немцы... Правда, когда они брали кровь, они вели нас в отдельную комнату и были в белых халатах, но белые халаты не запомнились. Запомнилась их форма...

Дома я не могла привыкнуть к сестре: это должно быть что-то такое родное, а я первый раз в жизни ее вижу, и она почему-то моя сестра. Мама днями пропадала на работе. Утром мы просыпаемся, ее уже дома нет, в печи стоят два горшка, сами вынимаем кашу. Весь день я жду маму — как что-то необыкновенное, как какое-то счастье. А она придет поздно, мы уже спим.

Нашла где-то не куклу, а голову от куклы. Полюбила ее. Это была моя радость, носила ее с утра до вечера. Единственная игрушка. Мечтала о мячике. Выйду во двор, у всех мячики, носили их тогда в специальных сеточках, они так и продавались. Попрошу у кого-нибудь, дадут поддержать.

Купила я себе мячик в восемнадцать лет с первой своей полочки на часовом заводе. Мечта сбылась: принесла мячик и повесила дома в сеточке на этажерке. Во двор мне с ним стыдно пойти, уже большая, я сидела дома и смотрела на него.

Через много лет собралась я к Степаниде Ивановне. Одна бы так и не решилась, но муж настоял:

— Пойдем вдвоем. Как же ты не хочешь ничего о себе узнать?

— Разве я не хочу? Я боюсь...

Набрала ее домашний телефон и услышала в ответ:

— Степанида Ивановна Дедюля умерла...

Простить себе не могу...

А ВЫ ВЛЮБИЛИСЬ В МОЮ МАМУ...»

Яня Чернина — 12 лет.

Сейчас — учительница.

Обычный день... День этот начался обычно...

Но когда я ехала в трамвае, люди уже говорили: «Какой ужас! Какой ужас!» — а я никак не могла понять, что случилось. Прибежала домой и увидела свою маму, она месила тесто, и слезы градом лились у нее из глаз. Я спрашиваю: «Что случилось?». Первое, что она сказала: «Война! Бомбили Минск...». А мы только на днях вернулись в Ростов из Минска, где гостили у тети.

Первого сентября мы все-таки пошли в школу, а десятого сентября школу закрыли. Началась эвакуация Ростова. Мама говорит, что нам надо собираться в дорогу, а я не соглашаюсь: «Какая может быть эвакуация?». Я пошла в райком комсомола и просила, чтобы меня досрочно приняли в комсомол. Мне отказали, потому что в комсомол принимали с четырнадцати лет, а мне только двенадцать. А я считала, что если вступлю в комсомол, смогу тут же во всем участвовать, сразу стану взрослой. Смогу пойти на фронт.

Сели мы с мамой в вагон, был у нас с собой один чемодан, в том чемодане лежали две куклы: большая и маленькая. Помню, что мама даже не сопротивлялась, когда я их взяла. Как эти куклы нас спасли, потом расскажу...

Доехали до станции Кавказская, поезд разбомбили. Влезли на какую-то открытую платформу. Куда едем, не разобрались. Знали одно: уезжаем от линии фронта. От боев. Лил дождь, мама меня закрывала собой. На станции Баладжары под Баку слезли мокрые и черные от паровозного дыма. И голодные. Жили мы до войны скромно, очень скромно, у нас не было хороших вещей, которые можно бы отнести на базар, обменять или продать, у мамы был с собой только паспорт. Сидим на вокзале и не знаем, на что решиться. Куда пойти? Идет солдат, не солдат, а солдатик, совсем маленький, черненький, с котомкой за плечами, с котелком. Видно, его только что взяли в армию, он на фронт отправляется. Остановился возле нас, я прильнула к маме. Он спрашивает:

— Женщина, куда едешь?

Мама отвечает:

— Не знаю. Мы — эвакуированные.

Говорит он по-русски, но с большим акцентом:

— Не бойся нас, поезжай в аул к моей матери. У нас всех забрали в армию: отца нашего, меня, двух братьев. Она одна осталась. Помогите ей, и проживете вместе. А я вернусь и женюсь на вашей дочке.

И сказал адрес, записать было не на чем, мы запомнили: станция Евлах, район Ках, село Кум, Мусаев Муса. Адрес запомнился на всю жизнь, хотя мы по нему не поехали. Взяла нас к себе одинокая женщина, жила она в фанерной временке, в которой помещались только кровать и маленькая тумбочка. Спали так: головы наши на проходе, а ноги — под кроватью.

Нам везло на хороших людей...

Не забуду, как к маме подошел военный, разговорились, и он рассказал, что у него в Краснодаре погибла вся семья, а он едет на фронт. Товарищи кричат, зовут к эшелону, а он стоит и не может от нас уйти.

— Я вижу, что вы бедствуете, разрешите мне оставить вам свой военный аттестат, у меня никого больше нет, — вдруг говорит он такие слова.

Мама заплакала. А я поняла все по-своему, я стала на него кричать:

— Идет война... У вас вся семья погибла, вам надо ехать на фронт и мстить фашистам, а вы влюбились в мою маму. Как вам не стыдно!

Они вдвоем с мамой стоят, и у них слезы на глазах, а я не понимаю, как моя хорошая мама может разговаривать с таким плохим человеком: он не хочет ехать на фронт, он говорит о любви, а ведь любовь может быть только в мирное время. Почему я решила, что он говорит о любви? Ведь речь шла только о его лейтенантском аттестате...

Еще хочу рассказать о Ташкенте... Ташкент — это моя война. Жили мы в общежитии завода, на котором работала мама. Оно было в центре города, под него отдали клуб. В вестибюле и в зрительном зале жили семейные, а на сцене — «холостяки», их звали холостяками, но это были рабочие, у которых семьи остались в эвакуации. Наше с мамой место было в углу зрительного зала.

Дали нам карточки на пуд картошки, мама с утра до ночи работала на заводе, я должна была получить эту картошку. Полдня простояла в очереди, а потом четыре или пять кварталов тянула мешок по земле, поднять его я не могла. В транспорт детей не пускали, потому что начался грипп и объявили карантин. Как раз в эти дни... Как ни просилась — меня не пустили в автобус. Когда осталось лишь перейти дорогу перед нашим общежитием, сил уже не хватило, упала на мешок и разрыдалась. Чужие люди помогли — принесли в общежитие меня и картошку. До сих пор я чувствую ту тяжесть. Каждый тот квартал... Бросить картошку я не могла, в ней было наше спасение. Умерла бы, но не бросила. Мама приходила с работы голодная, синяя.

Мы голодали, и мама стала такой же худенькой, как и я. Мысль о том, что я тоже должна помогать, не покидала меня. Как-то совсем нечего было есть, я решила продать наше единственное байковое одеяло и на эти

деньги купить хлеба. А детям не разрешалось торговать, и меня отвели в детскую комнату милиции. Я сидела там, пока не сообщили маме на завод. Мама приехала после смены, забрала меня, а я изревелась от стыда и от того, что мама голодная, а дома нет ни кусочка хлеба. У мамы была бронхиальная астма, ночью она страшно кашляла и задыхалась. Ей надо было проглотить хотя бы крошечку и становилось легче. И я всегда прятала под подушку хлебный кусочек для нее. Кажется, уже сплю, но все равно помню, что под подушкой лежит хлеб, и мне страшно хочется его съесть.

Тайком от мамы пошла устраиваться на завод. А была я такая маленькая, типичный дистрофик, что братья меня не хотели. Стою и плачу. Кто-то сжалился, меня взяли в цеховую бухгалтерию: заполнять наряды рабочим, начислять зарплату. Работала на машине, это прототип нынешней счетной машины. Теперь она работает беззвучно, а тогда это был трактор, причем она работала только с лампой. Двенадцать часов моя голова была как на горячем солнце, а от тарахтения машины к концу дня я глохла.

И вот произошел со мной ужасный случай: одному рабочему вместо двухсот восьмидесяти рублей я насчитала восемьдесят. А у него было шестеро детей, и никто мою ошибку не заметил, пока не наступил день полочки. Слышу, кто-то бежит по коридору и кричит: «Убью!» Убью! Чем я детей кормить буду?». Мне говорят:

— Прячься, это, наверное, тебя.

Дверь открылась, и я прижалась к машине, прятаться некуда. Вскочил большой мужчина, в руках у него что-то тяжелое:

— Где она?

Ему показали на меня:

— Вот она...

Он даже к стенке прислонился.

— Тьфу! И убить некого, у самого такие. — Повернулся и пошел.

А я как упаду на машину. Как разревусь...

Мама работала в отделе технического контроля этого же завода. Завод наш делал снаряды к «катюшам», снаряды были двух калибров — шестнадцать и восемь килограммов. Корпус снаряда под давлением проверялся на прочность. Снаряд нужно было поднять, закрепить и дать нужное количество атмосфер. Если корпус был качественный, его снимали и клали в ящик. А если некачественный, резьба не выдерживала, снаряды с воём вылетали и летели вверх под купол, а потом падали неизвестно куда. И вот этот вой и этот страх, когда снаряды летели... Все забивались под станки...

Мама вздрагивала и кричала по ночам. Я обниму ее, и она затихнет.

Шел к концу сорок третий год... Наша армия давно наступала. Я поняла, что мне надо учиться. Пошла к директору завода. В кабинете у него стоял высокий стол, меня из-за этого стола почти не видно. Начинаю приготовленную речь:

— Хочу уволиться с завода, мне надо учиться.

Директор разозлился:

— Мы никого не увольняем. Сейчас — военное время.

— Я ошибаюсь в нарядах, потому как неграмотная. Вот недавно человека обсчитала.

— Научишься. У меня людей не хватает.

— А после войны нужны будут грамотные люди, а не недоучки.

— Ах ты, козявка, — директор поднялся из-за стола, — все знаешь!

В школе я пошла в шестой класс. Во время уроков литературы и истории учителя нам рассказывали, а мы сидели и вязали носки, варежки, кисеты для армии. Вяжем и стихи учим. Хором повторяем Пушкина.

Ждали конца войны, это была такая желанная мечта, что мы с мамой даже боялись о ней говорить. Мама была на заводе, а к нам пришли уполномоченные и у всех

спрашивали: «Что вы можете дать в фонд обороны?». Спросили и у меня. Что у нас было? У нас ничего не было, кроме нескольких облигаций, которые мама берегла. Все что-то дают, а как это мы не дадим?! Отдала я все облигации.

Помню, что мама, вернувшись с работы, меня не отчитывала, она только сказала: «Это все, что у нас было, помимо твоих кукол».

С куклами я тоже рассталась... Мама потеряла месячные хлебные карточки, мы погибали буквально. И мне пришла в голову спасительная идея попробовать обменять на что-нибудь мои две куклы — большую и маленькую. Отправились с ними на базар. Подошел старый узбек: «Сколько стоит?». Мы сказали, что нам надо прожить месяц, у нас нет карточек. Старый узбек дал нам пуд риса. И мы не умерли с голода. Мама поклялась: «Я куплю тебе две красивые куклы, как только мы вернемся домой».

Когда мы вернулись в Ростов, она не сумела их мне купить, мы снова нуждались. Она купила их мне в день окончания института. Две куклы — большую и маленькую...

ОНИ ВЫКРИКИВАЛИ СВОИ ИМЕНА...»

Артур Кузеев — 10 лет

Сейчас — администратор гостиницы.

Кто-то бил в колокол. Раскачивал и раскачивал...

Церковь давно у нас закрыли, я даже не помню, когда ее закрыли, там всегда был колхозный склад. Хранили зерно. Услышав давно мертвый колокол, деревня онемела: «Беда!». Мама... Все выбежали на улицу...

Так началась война...

Вот закрою глаза... Вижу...

По улице ведут трех красноармейцев, руки у них сзади закручены колючей проволокой. Они в нижнем белье. Двое молодых, один старше. Идут они, опустив головы.

Расстреливают их возле школы. На дороге.

В последние минуты они стали громко выкрикивать свои имена и фамилии в надежде, что кто-то услышит и запомнит. Передаст родным.

Я смотрел через дырку в заборе... Я запомнил...

Один — Ванечка Баллай, второй — Роман Никонов. А тот, кто был старше, крикнул: «Да здравствует — товарищ Сталин!».

И тут же, по этой дороге двинулись грузовики. Тяжелые немецкие грузовики. А они лежат... По ним пошли грузовики с солдатами и боеприпасами. Следом мото-

циклисты. Немцы катили и катили. Днем и ночью. Много дней.

А я повторял... Ночью проснись... Повторяю: Ванечка Баллай, Роман Никонов... Третью фамилию не знаю...

ВПРЯГЛИСЬ МЫ В ЭТИ САНОЧКИ...»

Зина Приходько — 4 года.

Сейчас — рабочая.

Бомбят... Дрожит земля, дрожит наш дом...

А дом наш был небольшой, с садом. Мы спрятались в доме, закрыли ставни. Сидим вчетвером: мои две сестрички, я и наша мама. Мама говорит, что закрыла ставни и теперь не страшно. И мы соглашаемся, что не страшно, а сами боимся, но не хотим расстраивать маму.

...Идем за подводой, потом нас, маленьких, кто-то посадил на узлы. Почему-то мне казалось, что если я засну, то меня убьют, изо всех сил старалась не закрывать глаза, а они сами закрывались. Тогда мы договорились со старшей сестричкой, что сначала я закрою глаза, посплю, а она будет сторожить, чтобы нас не убили, потом она заснет, и я буду сторожить. Но заснули обе и проснулись от крика мамы: «Не пугайтесь! Не пугайтесь!». Впереди стреляли. Кричали люди... Мама пригибала нам головы. А мы хотели посмотреть...

Стрельба кончилась, поехали дальше. Я увидела, что в канаве возле дороги лежат люди, и спросила у мамы:

— Что эти люди делают?

— Они спят, — ответила мама.

— А почему они спят в канаве?

— Потому что война.

— Значит, и мы будем спать в канаве? А я не хочу спать в канаве, — закапризничала я.

Перестала капризничать, когда увидела, что у мамы слезы появились.

Куда мы шли, куда мы ехали, я, конечно, не знала. Не понимала. Помню только слово — Азаричи и проволоку, к которой мама не разрешала подходить. После войны я узнала, что мы попали в Азаричский концлагерь. Я даже ездила потом туда, на то место. Но что там теперь увидишь? Трава, земля... Все обыкновенное. Если что-то осталось, то только в нашей памяти...

Я, когда рассказываю, руки до крови кусаю, чтобы не плакать...

Маму откуда-то приносят и кладут на землю. Подползаем к ней, помню, что подползаем, а не подходим. Зовем: «Мама! Мама!». Я прошу: «Мама, не спи!». А мы уже все в крови, потому что мама в крови. Думаю: мы не понимали, что это кровь и что такое кровь, но до нас дошло, что это что-то страшное.

Каждый день приходили машины, на них садились люди и уезжали. Мы просили маму: «Мамочка, давай поедem на машине. Может, она едет в ту сторону, где живет бабушка?». Почему мы вспоминали бабушку? Потому что мама всегда говорила, что тут рядом живет наша бабушка и не знает, где мы. Она думает, что мы в Гомеле. Мама не хотела ехать на этой машине, она оттаскивала нас каждый раз от машины. А мы плакали, просили, уговаривали. В одно утро она согласилась... Началась зима, мы стали замерзать...

Кусаю себе руки, чтобы не плакать. Не могу без слез...

Ехали мы долго, и кто-то маме сказал или она сама догадалась, что нас везут на расстрел. Когда машина остановилась, всем приказали выходить. Там был хутор, и мама спрашивает у конвоира: «Можно ли попить водички? Дети просят пить». Он разрешил нам зайти в хату. Мы зашли в хату, хозяйка дала большую кружку воды. Мама пьет маленькими глотками, медленно, а я

думаю: «Мне так хочется есть, отчего это маме захотелось пить?».

Выпила мама одну кружку, попросила вторую. Хозяйка зачерпнула, подала ей и говорит, что каждое утро в лес ведут много людей, а назад никто не возвращается.

— А есть у вас второй выход, чтобы нам уйти отсюда? — спрашивает мама.

Хозяйка показала рукой — есть. Одна дверь у нее велла на улицу, а вторая — во двор. Мы выскочили из этой хаты и поползли. Мне кажется, что мы не дошли, а доползли до дома нашей бабушки. Как и сколько ползли, не помню.

Нас бабушка положила на печку, а маму на кровать. Утром мама начала умирать. Мы сидели испуганные и не могли понять: как это мама может умереть, оставить нас, когда нет папы? Помню, что мама подозвала нас, улыбнулась:

— Никогда не ссорьтесь, дети.

А зачем нам ссориться? Из-за чего? Игрушек никаких. Большой камешек был у нас куклой. Не было конфет. Не было мамы, чтобы пожаловаться.

Утром бабушка завернула маму в большую белую простыню и положила на саночки. Все вчетвером впряглись мы в эти саночки...

Простите... Не могу больше... Плачу...

КАК ВОРОБЬИ...»

[illegible]

Сейчас — преподаватель логики.

В войну все, что было до войны, казалось самым прекрасным на свете. Так это во мне и осталось навсегда. По сию пору.

Из Ельска эвакуировались — мама, я и младший брат. Остановились в селе Грибановка под Воронежем, думали там ждать конца войны, но через несколько дней после того, как мы приехали, немцы подошли к Воронежу. Следом за нами.

Сели в товарняк, нам сказали, что повезут всех далеко на восток. Мама утешала нас так: «Там будет много фруктов». Ехали долго, потому что часто стояли на запасных путях. Где и сколько стоять будем, мы не знали, поэтому с большим риском выскакивали на станциях, чтобы взять воды. Горела у нас «буржуйка», на весь вагон варили на ней ведро пшенной каши. Сколько ехали, столько ели эту кашу.

Поезд встал на станции Курган-Тюбе. Под Андижаном... Меня поразила незнакомая природа и поразила так сильно, что на какое-то время я даже забыла о войне. Все цвело, пылало, было столько солнца. Я опять стала веселая. Ко мне все вернулось, все прежнее.

Привезли нас в колхоз «Кызыл юл». Сколько времени прошло, а все названия помню. Даже сама удивляюсь, что не забыла. Помню, как тогда заучивала, повторяла непривычные слова. Стали мы жить в школьном спортзале, вместе восемь семей. Местные жители принесли нам одеяла и подушки. Узбекские одеяла шьются из разноцветных кусочков, подушки набиваются хлопком. Я быстро научилась собирать охапки сухих стеблей хлопчатника — им топили.

Мы не сразу поняли, что и здесь война. Дали нам немного муки, но этого мало, ненадолго хватило. Стали голодать. Узбеки тоже голодали. Вместе с узбекскими мальчишками мы бегали за телегами, счастье, если что-то с телеги упадет. Самой большой радостью для нас был жмых, жмых из льна, а из хлопковых зерен он очень твердый, желтый, похож на гороховый,

Брату Вадику было шесть лет, его мы оставляли дома одного, а мы с мамой шли на работу в колхоз. Окучивали рис, собирали хлопок. С непривычки у меня болели руки, ночью я не могла уснуть. Вечером возвращаемся с мамой домой, навстречу нам несется Вадик, и через плечо на веревочке у него болтаются три воробья, а в руках рогатка. Он уже помыл свои «охотничьи» трофеи в речке и ждет маму, сейчас начнем варить суп. Гордый такой! Едим мы с мамой суп и нахваливаем, а воробьи такие худые, что в кастрюльке ни жиринки не блестит. Над кастрюлей блестят только счастливые глаза брата.

Дружил он с узбекским мальчиком, однажды тот пришел к нам со своей бабушкой. Смотрит она на мальчиков, кивает головой и что-то говорит маме. Мама не понимает, но тут зашел бригадир, он знал русский язык. Он нам перевел: «Она со своим Богом разговаривает, с Аллахом. И жалуется ему, что война — это дело мужчин, воинов. Зачем же детям страдать? Как он допустил, что эти два мальчика стали легонькие, как воробьи, в которых они стреляют из рогаток?». Бабушка высыпает на стол горсть золотых сушеных урючин —

твердые и сладкие, как сахар! Их можно долго сосать, откусывать по маленькому кусочку, а потом расколоть косточку и съесть хрустящее зернышко.

Внук ее смотрит на эти урючины, и глаза у него тоже голодные. Горят! Мама растерялась, бабушка погладила ей руку, успокоила, прижала внука к себе. «У него всегда есть пиала катека, потому что он живет дома, с бабушкой», — перевел бригадир. Катек — это кислое козье молоко. Нам с братом, сколько мы были в эвакуации, казалось, что ничего нет на свете вкуснее.

Они уходят, бабушка и мальчик, а мы сидим за столом, все трое. Никто не решается первым протянуть руку к золотым урючинам...

[illegible]

Сейчас — заведующий отделом горисполкома.

Взрослые нам не разрешали, а мы все равно залезали на деревья и наблюдали за воздушными боями с высоких елок. Плакали, когда горели наши самолеты, а страха не было, как будто смотрели кино. На второй или на третий день собрали общую линейку, и директор объявил, что наш пионерский лагерь эвакуируется. Мы уже знали, что горит от бомб Минск, и домой нас не повезут, повезут куда-то дальше от войны.

Я хочу рассказать, как мы собирались в дорогу... Велели нам взять чемоданы и сложить в них только самые необходимые вещи: маечки, рубашки, носки, носовые платки. Упаковали мы их, а наверх каждый положил свой пионерский галстук. В детском воображении рисовалось: встретят нас немцы, откроют чемоданы, а там лежат красные галстуки. Так мы отомстим им за все...

Состав наш шел быстрее войны. Обогнал войну... На тех станциях, где мы останавливались, про войну еще ничего не знали, ее не видели. И мы, дети, рассказывали взрослым про войну: как горел Минск, как бомбили наш лагерь, как горели наши самолеты. Но чем дальше

отъезжали от дома, тем больше ждали, что приедут родители и заберут нас, а о том, что у многих уже нет родителей, мы не подозревали. Такая мысль даже не могла еще появиться. Мы говорили о войне, но еще были мирные дети. Из мира.

С поезда нас пересадили на теплоход «Парижская коммуна» и повезли по Волге. Полмесяца мы уже находились в дороге и ни разу не раздевались. На теплоходе я первый раз снял тапочки, нам разрешили. У меня были прорезиненные тапочки с тесемочками. Когда я их снял, это был такой запах! Мыл, мыл и выбросил. Приехал в Хвалынский босиком.

Нас приехало так много, что создали два белорусских детских дома, в первом — школьники, во втором — дошкольники. Почему я об этом знаю? Потому что очень плакали те, кому надо было разлучаться с братом или сестричкой, особенно плакали маленькие, боялись потерять старших. Когда мы в пионерском лагере остались без родителей, было интересно, это как будто игра, а тут мы все испугались. Домашние дети, привыкшие к родителям, к ласке. Моя мама меня всегда утром будила, целовала на ночь. Рядом с нами был детдом, где жили «настоящие» детдомовцы, от них мы резко отличались. Они привыкли жить без родителей, а нам надо было к этому привыкать.

Запомнил еду сорок третьего года: в день ложечка топленого молока и кусочек хлеба, вареная свекла, летом — суп из арбузных корок. Посмотрели кинокартину «Март — апрель», там рассказывалось, как наши разведчики из березовой коры варили кашу. Наши девочки тоже научились варить березовую кашу.

Осенью сами заготавливали дрова, на каждого норма — один кубометр. Лес был в горах. Его сначала валяли, обтесывали, потом распиливали на метровые куски и складывали в штабеля. Норма была рассчитана на взрослого человека, а с нами еще и девочки работали. Доставалось больше нам, мальчишкам. Дома мы никог-

да не пилили, потому что все городские, а здесь такие толстые бревна нужно было пилить. Колоть.

Есть хотелось днем и ночью, за работой и во сне, все время хотелось есть. Особенно зимой. Мы бежали из детдома в воинскую часть, там нам часто перепадал черпак супа. Но нас было много, там тоже не могли накормить всех. Успеешь первым — что-нибудь получишь, опоздал — останешься ни с чем. У меня был друг Мишка Черкасов. Сидим, он говорит: «За двадцать километров пошел бы, если бы знал, что там дадут миску каши». На дворе тридцать градусов, он оделся и побежал в воинскую часть. Просит у солдат чего-нибудь поесть, они сказали, что есть немного супа, давай, парень, беги за котелком. Он вышел на улицу, смотрит: дети из соседнего детдома тоже идут, если он побежит назад за котелком, ему ничего не достанется.

Возвращается назад и говорит солдатам: «Лейте!». Вместо котелка снимает и подставляет шапку. Настолько у него был решительный вид, что солдат взял и вылил ему в шапку весь черпак. Миша героем прошел мимо детдомовских, которым ничего не досталось, прибежал в свой детдом. Он отморозил уши, но принес нам суп, там был уже не суп, а полная шапка льда. Вывернули этот лед в тарелку, никто не ждал, пока нагреется, ели так, а девочки оттирали Мише уши. Сколько на его лице было радости, что он принес для всех, он даже есть первым не начал!

Самой вкусной едой для нас был жмых, мы делили его на сорта по вкусовым качествам, один сорт назывался халвичным. Проводили операцию «Макуха». Несколько человек на ходу залезают на машину, сбрасывают пласты макухи, другие подбирают. Возвращались в детдом с синяками, зато сытые. Ну и конечно, летние и осенние базары! Вот когда нам было хорошо. Напробуешься всего: у одной хозяйки — кусочек яблока, у другой — кусочек помидора. Воровать что-нибудь на базаре не считалось зазорным, наоборот — геройством! Что

тащить — нам было все равно, нам бы что-то поесть, а что — неважно.

У нас в классе учился сын директора маслозавода. Дети есть дети, сидим на уроке, в «морской бой» играем. А он ест сзади хлеб с подсолнечным маслом. Оно пахнет на весь класс.

Шепчемся и показываем ему кулаки, мол, пусть только уроки кончатся...

Смотрим — нет учительницы, смотрим — она на полу лежит. Она была голодная и тоже почувствовала этот запах. И упала в обморок. Наши девочки отвели ее домой, она жила с матерью. Вечером решили, что с этого дня каждый начнет оставлять по маленькому кусочку хлеба, отдавать его учительнице. Сама она бы у нас ни за что не взяла, мы тайком носили ее матери и просили не говорить, что это от нас.

Был у нас свой сад и свой огород. В саду росли яблоки, а в огороде — капуста, морковь, бураки. Мы их охраняли, дежурили по несколько человек. Сдавая дежурство, все пересчитывали: каждый кочан капусты, каждую морковку. Ночью думаешь: «Хоть бы за ночь еще одна морковка выросла. Ее бы не было в списке и можно было съесть». Если морковка числится в списках, не дай бог ей пропасть. Стыдно!

Сидим на огороде, кругом еда, а мы терпим. А есть ужасно хочется. Один раз я дежурил с мальчиком постарше. В его голове родилась идея:

— Видишь, корова пасется...

— Ну и что?

— Дурак! А ты разве не знаешь, что есть постановление, если частная корова пасется в уголье государственном, то корову или отбирают, или штрафуют хозяев.

— Она же на лугу пасется.

— Что она там, привязанная?

И вот он излагает свой план: берем корову, притаскиваем в свой сад и привязываем. Затем ищем хозяйку. Так мы и сделали: притащили корову в свой детдомовский

сад и привязали. Напарник мой сбегал в деревню, нашел хозяйку, мол, так и так, корова ваша находится в государственном саду, а вы же знаете постановление...

Не думаю... Теперь сомневаюсь, что хозяйка поверила нам и испугалась, пожалела она нас, увидела, что голодные. Договорились так: мы пасем ее корову, а она за это дает нам несколько картофелин.

Заболела у нас одна девочка, ей надо было перелить кровь. Так во всем детдоме не у кого было взять кровь. Вы понимаете?

Мечта? Попасть на фронт. Собралось нас несколько мальчишек, самых отчаянных, решили убежать. На наше счастье, приехал в детдом военный капельмейстер, капитан Гордеев. Он отобрал четырех музыкальных мальчиков, в том числе и меня. Так я попал на войну.

Нас провожали всем детдомом. У меня нечего было надеть, так одна девочка отдала свой матросский костюм, у другой было две пары ботиночек, одну она подарила мне.

Так и поехал на фронт. Больше всего стеснялся, что ботиночки у меня девчоночьи...

НЕ МОГЛА ОСТАНОВИТЬСЯ...»

Люда Андреева — 5 лет.

От войны у меня осталось впечатление, как от костра...
Он горел и горел. Бесконечно...

Соберемся маленькие дети, и знаете, о чем мы говорим? Что до войны мы любили булочки и сладкий чай, и что этого больше никогда не будет.

Мамы наши плакали часто, каждый день они плакали... Поэтому мы старались плакать меньше, чем в мирное время. Меньше капризничать.

Я знала, что мама у меня молодая и красивая, у других детей были мамы постарше, но в пять лет я поняла, что для нас это плохо, что мама молодая и красивая. Это опасно. В пять лет я это сообразила... Я даже поняла, что то, что я маленькая — это хорошо. Как такое ребенок способен понять? Мне же никто ничего не объяснял...

Через столько лет... Боюсь это вспоминать... даже дотрагиваться...

Возле нашего дома остановилась немецкая машина, она не специально остановилась, она испортилась. Солдаты зашли в дом, меня и бабушку прогнали в другую комнату, а маму заставили им помогать. Грели воду, готовили ужин. Они так громко разговаривали, что мне казалось — они не разговаривают друг с другом и смеются, а кричат на мою маму.

Стало темно, уже вечер. Уже ночь. Вдруг мама бежит в комнату, хватая меня на руки и бежит на улицу. Сада у нас не было, и двор пустой, бегаем и не знаем, куда спрятаться. Залезли под машину. Они вышли во двор и ищут, светят фонариками. Мама лежит на мне, и я слышу, как у нее стучат зубы, она холодная сделалась. Вся холодная.

Утром, когда немцы уехали и мы вошли в дом... Бабушка наша лежала на кровати... привязанная к ней веревками... Голая! Бабушка... Моя бабушка! От ужаса... От страха я закричала. Мама вытолкнула меня на улицу. Я кричала и кричала... Не могла остановиться...

Долго боялась машин. Только звук услышу, начинаю дрожать. Уже война кончилась, уже мы в школу пошли... Вижу: трамвай идет, и ничего не могу с собой сделать, у меня стучат зубы. От дрожи. В классе нас было трое, кто пережил оккупацию. Один мальчик боялся гула самолета. Весной тепло, откроет учительница окна... Гул самолета... Или машина подъедет... Глаза у меня и у этого мальчика делаются огромные, зрачки расширяются, мы в панике. А дети, которые вернулись из эвакуации, над нами смеются.

Первый салют... Люди выбежали на улицу, а мы с мамой спрятались в яме. Сидели там, пока не пришли соседи: «Вылезайте — это не война, а праздник Победы».

Как захотелось детских игрушек! Детства захотелось... Положим кусочек кирпича и представляем, что это кукла. Или кто-то самый маленький изображал, что он кукла. Если я сегодня увижу в песке цветные стеклышки, мне хочется их поднять. Они мне и сейчас красивые.

Подросла я... И кто-то сказал: «Какая ты красивая. Как твоя мама». Я не обрадовалась, я испугалась. Никогда не любила, когда мне говорили эти слова...

[illegible]

Матрица **Ориент**

Не помню, кто первый сказал мне, что маму расстреля-

Мамлюбиди. Надо привести

Запрягли корову (доплати у нас)

Ты тут покой. Мне старому не страшно если

ЖП: Мысли в голову разные, что я скажешь? Как я

У мамы была простейшая автоматическая охрана из раз

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

в виске... Мне хотелось, чтобы ей скорее завязали белый платок, чтобы не видеть эту черную дырочку. Такое чувство, что ей еще больно.

На воз не сел, шел рядом...

В деревне каждый день кого-нибудь хоронили... Запомнил, как хоронили четырех партизан. Трех мужчин и девушку. Партизан хоронили часто, но первый раз я видел, как хоронили женщину. Вырыли ей отдельную могилку... Она одна лежала на траве под старой грушей... Старые женщины сидели рядом и гладили ее руки...

— Почему ее положили отдельно? — спрашивал я.

— Молодая... — отвечали бабы.

Когда остался один, без родных, без родственников, я испугался. Как быть? Привели меня в деревню Залесье к тетке Марфе. Детей своих у нее не было, муж воевал на фронте. Сидим в погребке, прячемся. Она прижмет мою голову к своей: «Сынок...».

Заболела тетка Марфа тифом. За нею заболел я. Меня забрала к себе бабка Зенька. У нее два сына воевали на фронте. Ночью проснусь, она дремлет возле меня на кровати: «Сынок...». Все из деревни бегут от немцев в лес, а бабка Зенька — возле меня. Ни разу не оставила: «Вместе, сынок, будем погибать».

После тифа долго не мог ходить. Ровная дорога — иду, а чуть горка — ноги подкашиваются. Уже ждали наших солдат. Женщины пошли в лес, набрали земляники. Не было другого гостинца.

Солдаты шли уставшие. Бабка Зенька насыпала им в каски красную землянику. Они все угощали меня. А я сидел на земле и не мог встать.

Возвратился из партизан отец. Он знал, что я больной, и принес мне кусочек хлеба и кусочек сала, с палец толщиной. Сало и хлеб пахли махоркой. Все пахло отцом.

Слово «Победа!» слышали, когда собирали на лугу щавель. Все дети взялись за руки и так бежали к деревне...

«МЫ ДАЖЕ НЕ ЗНАЛИ, КАК ХОРОНЯТ...

А ТУТ ОТКУДА-ТО ВСПОМНИЛИ...»

||

Михаил Шинкарев — 13 лет.

Сейчас — железнодорожник.

У наших соседей была глухая девочка...

Все кричат: «Война! Война!», а она прибежит к моей сестре с куклой, песенки поет. А уже даже дети не смеялись. «Вот хорошо, — думал я, — она ничего не слышала про войну».

Свои красные значки октябрят и красные галстуки мы с друзьями завернули в клеенку и закопали в кустах возле речки. В песке. Тоже — конспираторы! Каждый день приходили на то место.

Немцев боялись все, даже дети и собаки. Мама клала яйца на скамейке возле дома. На улице. Тогда они не заходили в хату. Не спрашивали: «Юде?». У нас с сестрой были черные кучерявые волосы...

Купались в речке... И увидели, как со дна поднимается что-то черное. Именно этот момент! Решили: затопленное бревно, а оно, это что-то, подталкивалось течением к берегу, и мы рассмотрели руки, голову... Мы увидели, что это — человек. Мне кажется, никто не испугался. Не вскрикнул. Вспомнили, как взрослые говорили, что в этом месте погиб наш пулеметчик и вместе со своим «дегтярем» упал в воду.

Всего несколько месяцев войны... А у нас уже не было страха при виде смерти. Вытащили пулеметчика на бе-

рег и похоронили. Кто-то сбегал за лопатой, и вырыли яму. Закопали. Постояли молча. Одна девочка даже перекрестилась, у нее бабушка когда-то прислуживала в церкви, и она знала молитвы.

Все сделали сами. Одни, без взрослых. А до войны мы даже не знали, как хоронят. А тут откуда-то вспомнили.

Два дня ныряли за пулеметом...

[illegible]

Сейчас — слесарь-инструментальщик.

Пастухи собирали коров. Каратели дали время выгнать стадо за речушку Грезу и стали ходить по хатам. Заходили со списком и по списку расстреливали. Читают: мать, дед, дети такие-то, по столько лет... Проследят по списку, если одного нет, начинают искать. Под кроватью ребенка найдут, под печкой...

У нас в хате собралось шесть человек: бабушка, мама, старшая сестра, я и два младших братика. Шесть человек... Увидели в окно, как они пошли к соседям, побежали в сени с братиком самым маленьким, закрылись на крючок. Сели на сундук и сидим возле мамы.

Первый раз пришел в сознание, когда услышал, что на меня что-то капает... Капает и капает, как вода. Поднял голову: мамина кровь капает, мама лежит убитая. Пополз под кровать, все залито кровью... Я в крови, как в воде... Мокрый...

188

припрятала мешок жита, а за ним я лежу. Вытянули они мешок и пошли довольные. Забыли, что одного по спилу недосчитались. Они ушли, я потерял сознание...

Второй раз пришел в себя, когда загорелась наша хата...

Мне стало невыносимо жарко и тошнота такая. Вижу, что в крови, а не понимаю, что я раненый, боли не чувствую. Полная хата дыма... Как-то я выполз в огород, потом к соседу в сад. И только тут почувствовал, что у меня ранена нога и перебита рука. Боль ударила! Какое-то время опять ничего не помню...

Третий раз вернулось сознание, когда услышал страшный женский крик... Я пополз на него...

Крик висел и висел в воздухе. Полз по этому крику, как по ниточке, и приполз к колхозному гаражу. Никого не вижу... Крик откуда-то из-под земли идет... Тогда я догадался, что кто-то кричит из смотровой ямы...

Встать я не мог, подполз к яме и перегнулся вниз... Полная яма людей... Это все были смоленские беженцы, они у нас жили в школе. Семей двадцать. Все лежали в яме, а наверху поднималась и падала раненая девочка. И кричала. Я оглянулся назад: куда теперь ползти? Уже горела вся деревня... И никого живого... Одна эта девочка. Я упал к ней... Сколько лежал, не знаю...

Чувствую — девочка мертвая. И толкну, и позову — не отзывается. Один я живой, а они все мертвые. Солнце пригрело, от теплой крови пар идет. Закружилась голова...

Лежал так долго, то есть сознание, то его нет. В пятницу нас расстреляли, а в субботу приехали из другой деревни дедушка и мамина сестра. Они нашли меня в яме, положили на тачку. Тачка подсакивает, мне больно, я хочу кричать, а у меня нету голоса. Я мог только плакать... Долго не разговаривал. Семь лет... Что-то немного шептал, но никто не мог разобрать моих слов. Через семь лет стал одно слово выговаривать хорошо, второе... Сам себя слушал...

Там, где был наш дом, дедушка собрал в корзинку косточки. Полной корзинки даже не было...

Вот рассказал... И это все? Все, что осталось от такого ужаса? Несколько десятков слов...

«КОТЯТ ОНИ ВЫНЕСЛИ ИЗ ХАТЫ...»

Тоня Рудакова — 5 лет.

Сейчас — заведующая детским садом.

Первый год войны... Помню мало...

Приехали немцы утром, еще на дворе было серенько. Выстроили всех на лужку, и всем, кто стриженный, сказали: «Выходи!». А стриженные были военнопленные, которых люди домой забрали. Отвезли они их под лес и постреляли.

До этого мы бегали за деревню. Играли возле леса. А тут страх напал.

Помню, как напекла мама хлеба. Много хлеба напекла: на лавках, на столе, на полу на рушниках лежал, в сенцах. Я удивлялась:

— Мама, зачем нам столько хлеба? Дядей постреляли. Кого ты будешь кормить?

Она прогнала меня на улицу:

— Иди к детям...

Я боялась, что маму убьют, и все время за мамой бегала.

Ночью хлеб забрали партизаны. И никогда больше я столько хлеба не видела. Немцы подскребли по хатам все дочиста, голодали мы. Я же не понимала... Просила маму:

— Растопи печь и напеки хлеба. Много-много.

Это все, что я помню из первого года войны...

Наверное, я подросла, потому что дальше помню больше. Как нашу деревню жгли... Сначала нас расстреляли, а потом сожгли. Я вернулась с того света...

На улице они не стреляли, а заходили в хаты. Стоим все возле окна:

— Вон Аниську пошли расстреливать...

— У Аниськи кончили. К тетке Анфисе идут...

И мы стоим, мы ждем — придут и нас расстреляют. Никто не плачет, никто не кричит. Стоим. У нас была соседка со своими мальчиками, она говорит:

— Пойдем на улицу. На улице не расстреливают.

Заходят они во двор: первый — солдат, второй — офицер. Офицер высокий, сапоги у него высокие, высокая фуражка. Хорошо помню...

Стали загонять нас в дом. Соседка упала на траву и целует офицеру сапоги:

— Не пойдем. Знаем — там стрелять будете.

Они: «Цурюк! Цурюк!», это значит — назад. В доме мама села на лавку возле стола. И я запомнила, что она взяла кружечку с молоком, стала нашего маленького прикармливать. А так тихо, что мы все слышим, как он чмокает.

Я села в уголочке, впереди себя веник поставила. На столе была длинная скатерть, соседский мальчик под стол спрятался. Под скатерть. Брат под кровать залез. А соседка возле порога на колени стала и за всех просит:

— Паночку, у нас детки маленькие. Паночку, у нас деток, что гороху...

Вот я запомнила, как она просила. Просила долго.

Офицер подошел к столу, поднял скатерть и выстрелил. Оттуда — крик, он еще раз выстрелил. Соседский мальчик кричит... Раз пять стрелял...

Смотрит на меня... Как я ни стараюсь спрятаться за веник, никак не спрячусь. У него такие красивые карие глаза... Надо же, помню... Я так испугалась, что от страха спросила: «Дяденька, вы меня убивать будете?». Но он ничего мне не ответил. Как раз в это время выходит из другой комнаты солдат, ну как выходит... сорвал большую занавеску между комнатами и все. Зовет

офицера, показывает — на кровати лежат маленькие котята. Кошки нет, котята одни. Они берут их на руки, улыбаются, они начали с ними играть. Поигрались, и офицер отдает их солдату, чтобы тот вынес на улицу. Котят они вынесли из хаты. ...

Помню, как горели у убитой мамы волосы... А у маленького возле нее — пеленки... Мы переползли через них со старшим братом, я держалась за его штанину: сначала — во двор, потом в огород, до вечера прятались в картошке. Вечером заползли в кусты. И тут я расплакалась...

Каким образом мы остались живы? Не помню... Живы остались мы с братом и четыре котенка. Пришла наша бабушка, она жила за рекой. Забрала нас всех...

«ЗАПОМНИ: МАРИУПОЛЬ, ПАРКОВАЯ 6...»

Саша Солянин — 14 лет.

Сейчас — инвалид войны первой группы.

Как не хотелось умирать... Особенно не хочется умирать на рассвете...

Нас ведут на расстрел. Ведут быстро. Немцы куда-то спешат, это я понял из их разговора. До войны любил уроки немецкого языка. Даже сам выучил наизусть несколько стихотворений Гейне. Нас трое: двое военнопленных — два старших лейтенанта и я. Мальчишка... Меня словили в лесу, когда оружие собирал. Несколько раз удирал, а на третий словили.

Умирать не хочется...

Мне шепчут:

— Беги! Мы бросимся на конвойных, а ты прыгай в кусты.

— Не побегу...

— Почему?

— Буду с вами.

Я хотел погибнуть вместе с ними. Как солдат.

— Приказываем: бежать! Жить!

Один, Данила Григорьевич Иорданов, был из Мариуполя... другой, Александр Иванович Ильинский, из Брянска...

— Запомни: Мариуполь, Парковая 6... Запомнил?

— Брянск, улица... Запомнил?

Стали стрелять...

Побежал... Я бежал... В голове у меня стучало: так-так... запомнить... так-так-так... запомнить. И от страха забыл.

Я забыл название улицы и номер дома в Брянске...

[illegible]

Сейчас — юрист

Вышла я из вагона и расплакалась от обиды, от отчаяния. И — о! Меня увидела Дина, это была моя подруга, из Гомеля мы выезжали вместе, нас вместе наши мамы провожали, а в Малоярославце мы потерялись. Теперь нас опять стало двое. И мне уже не так страшно. На станциях нам приносили еду к поезду: бутерброды, молоко в бидонах на подводах, один раз даже суп привезли.

В Кустанайской области на станции Джаркуль нас высадили. Первый раз мы с Диной ехали на телеге. Друг друга успокаивали, что приедем и сразу напишем домой. Я говорила: «Если дом не разбомбят, то родители получат наши письма, а если разбомбят, то куда же мы напишем?». Мама моя была главврачом детской больницы, а папа — директором ремесленного училища. Папа мой был человек мирный, облик у него весь учительский, когда он первый раз пришел с работы с пистолетом (им выдали пистолеты), он надел кобуру на штатский пиджак, я испугалась. Он, мне кажется, тоже его боялся, осторожно снимал вечером и клал на стол. Жили мы в большом доме, но военных в нем не было, я раньше никогда не видела оружия. Мне казалось, что пистолет сам начнет стрелять, что в нашем доме уже живет война. Вот снимет папа пистолет, тогда война кончится.

Были мы с Диной девочки городские, ничего не умели. Приехали, а на другой день нас послали на работу в поле, целый день простояли согнувшись. У меня закружилась голова, и я упала. Дина надо мной плакала, но не знала, как помочь. Было стыдно: местные девочки нормы выполняют, мы дойдем до половины поля, а они уже где-то далеко. Самое ужасное, когда меня послали доить корову, дали в руки доенку, а корову я никогда не доила, боялась к ней подступить.

Однажды кто-то приехал со станции и привез газеты. Там мы прочли, что Гомель взят, очень плакали с Диной. Раз Гомель взят, значит, погибли наши родители,

а нам надо идти в детдом. О детдоме я не хотела слышать, думала искать брата. Но за нами приехали родители Дины, каким-то чудом они нас разыскали. Отец ее работал главврачом в городе Саракташе Чкаловской области. На территории больницы была небольшая хатка, и там мы жили. Спали на деревянных нарах из досок, матрац набили соломой. Очень мучили меня мои длинные косы, ниже коленей. Обрезать косы я не могла без маминого разрешения. У меня была надежда, что мама все-таки есть, она найдет меня. Мама любила мои косы и будет меня ругать, если я их обрежу.

Однажды... На рассвете... Так случается только в сказках, а еще — на войне. Раздался стук в окно... Я поднялась: стоит моя мама. И я теряю сознание... Скоро мама обрезала мне косы и натерла голову керосином от вшей.

Мама уже узнала, что папино училище эвакуировали в Новосибирск, и мы поехали с ней к папе. Там я стала ходить в школу. С утра мы учились, а после обеда ходили помогать в госпиталь, в город поступало много раненых, с фронта их отправляли в тыл. Приняли нас санитарками, меня определили в хирургию, самое тяжелое отделение. Давали нам старые простыни, мы рвали их на бинты, скручивали, затем закладывали в боксы и возили на стерилизацию. Стирали старые бинты, но иногда с фронта привозили такие бинты, что выносили их корзинами и закапывали во дворе. Они в крови, в гное...

Росла я в семье врача и до войны мечтала, что обязательно буду врачом. В хирургию — так в хирургию. Другие девочки боялись, а мне было все равно, только бы помогать, почувствовать себя нужной. Кончатся уроки, бежим скорее в госпиталь, чтобы не опоздать, прийти вовремя. Помню, что я несколько раз падала в обморок. Открывают раны, все прилипшее, раненые кричат... Несколько раз у меня начиналась тошнота от запаха бинтов, бинты сильно пахли, не лекарством, а... чем-то таким... Незнакомым, душным... Смертью... Я уже зна-

ла запах смерти. Заходишь в палату — раненый еще живой, но ты уже слышишь этот запах... Многие девочки уходили, не могли этого перенести. Они шили перчатки для фронта, кто умел — вязал. А я не могла уйти из госпиталя — как я уйду, если все знают, что мама моя — врач?

Но я очень плакала, когда раненые умирали. Они умирают и зовут: «Доктор! Доктор! Быстрее!». Доктор прибежит, а спасти не может, в хирургии раненые тяжелые. Помню одного лейтенанта... Он попросил у меня грелку. Положила ему грелку, он схватил меня за руку... Не могу ее отнять... К себе прижимает. Держится за меня, изо всех сил держится. Я слышала как у него остановилось сердце. Билось, билось и остановилось...

Я за войну столько всего узнала... Больше, чем за всю жизнь...

чик?». Я не растерялся: «Со старшим сержантом Верой Редькиной».

Так меня пропустили на войну...

«В ТУ СТОРОНУ,

ОТКУДА ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ...»

||

Валя Кожановская — 10 лет.

Сейчас — рабочая.

Детская память... В детской памяти остается только страх или что-то хорошее...

Дом наш стоял недалеко от военного госпиталя. Госпиталь бомбили, я видела, как из окон падали раненые с костылями. Загорелся наш дом... Мама вскочила в огонь: «Я возьму деткам одежду».

Горел наш дом... Горела наша мама... Мы кинулись за ней, люди догнали нас, держали: «Детки, маму уже не спасете». Куда бежали все, туда и мы. Лежат мертвые... Стонут, просят помощи раненые. Ну кто поможет? Мне — одиннадцать лет, сестре — девять. Мы с ней потерялись...

Встретились в детдоме Острошицкого Городка под Минском. До войны нас сюда привозил отец в пионерский лагерь. Красивое место. Из пионерского лагеря немцы сделали детдом. Все знакомое и чужое. Несколько дней одни рыдания, одни слезы: остались без родителей, сгорел наш дом. Воспитательницы были старые, а порядки немецкие. Через год... Думаю, что через год... Стали нас отбирать для вывоза в Германию. Отбирали не по годам, а по росту, и я, к несчастью, была высокого роста, как отец, а сестренка, как мать, маленького. Подошли машины, вокруг немцы с автоматами, меня загнали на

машину, сестра кричит, ее отталкивают, под ноги стреляют. Не пускают ко мне. Так нас разлучили...

Вагон. Битком набитый... Полный вагон деток, не было никого старше тринадцати лет. Первый раз остановились в Варшаве. Никто нас не поил и не кормил, только какой-то старичок зашел с полными карманами свернутых бумажек, на которых по-русски была написана молитва «Отче наш», и дал каждому такую бумажку.

После Варшавы ехали еще два дня. Привезли на санитарный, видимо, пункт. Раздели всех догола, вместе и мальчиков, и девочек, я плакала от стыда. Девочки хотели в одну сторону, мальчики в другую, нас сбили в одну кучу, направили шланг... Холодная вода... С каким-то непонятным запахом, никогда больше его не встречала, не знаю, что там было за дезинфицирующее средство. Не обращали внимания: глаза не глаза, рот не рот, уши не уши, — провели санобработку. Затем раздали полосатые брюки и пиджаки типа пижам, на ноги — деревянные сандалии, а на грудь прикололи железные бирки «Ost».

Выгнали на улицу и построили, как на линейку. Я думала, что нас куда-то поведут, в какой-нибудь лагерь, а сзади шепчут: «Нас продавать будут». Подошел старый немец, отобрал вместе со мной еще трех девочек, отдал деньги и показывает на телегу с соломой: «Садитесь!».

Привезли в какое-то имение... Стоял большой высокий дом, а вокруг него — старый парк. Поселили нас в сарае, на одной половине жило двенадцать собак, на другой — мы. Сразу же на работу в поле — собирать камни, чтобы плуги и сеялки не ломались. Камни надо было складывать ровненько, в одном месте. А мы в этих деревянных сандалиях, мозоли осыпали все ноги. Кормили плохим хлебом и снятым молоком.

Одна девочка не выдержала, умерла. Ее на лошадях увезли в лес и прямо так, без ничего, закопали. Деревянные кандалы и полосатую пижаму привезли назад в имение. Помню, что звали ее Оля.

Был там старый-старый немец, кормил собак. Он очень плохо говорил по-русски, но говорил, старался нас поддержать: «Киндер, Гитлер капут. Русский ком». Пойдет в курятник, наворует в шапку яиц и спрячет в свой ящик с инструментами — он еще плотничал в имении. Возьмет в руки топор и идет будто бы работать, а сам поставит ящик возле нас и смотрит по сторонам, машет руками, чтобы быстрее съели. Яйца выпьем, а скорлупки закопаем.

Позвали нас два сербских мальчика, которые тоже работали в этом имении. Были, как и мы, рабы. Рассказали свой секрет... Признались, что у них есть план: «Надо бежать, а то все умрем, как Оля. Закопают в лесу, а деревьяшки наши и пикамы назад привезут». Мы боялись, но они нас убедили. Было так... За имением — болото, мы туда незаметно утром пробрались, а потом побежали. Бежали в ту сторону, откуда восходит солнце, на восток.

Вечером в кустарнике свалились все и уснули, усталые. Утром открыли глаза — тишина, одни жабы квакают. Встали, росой умылись и двинулись. Прошли совсем немного и увидели впереди дорогу шоссейную, надо ее перейти, напротив густой и красивый лес. Наше спасение. Один мальчик подполз, осмотрел шоссе и позвал: «Бегом!». Мы — на дорогу, а из лесу к нам навстречу немецкая машина с автоматчиками. Окружили нас и стали бить мальчиков, топтать.

В машину их бросили мертвых, а нас с девочкой посадили рядом. Сказали, что им хорошо, а вам еще лучше будет, русские свиньи. По биркам они узнали, что мы восточные. У нас такой страх, что мы даже не плакали.

Привезли в концлагерь. Там мы увидели: на соломе сидят детки, а по ним ползают вши. Солому возили с полей, которые начинались сразу за колючей проволокой с током.

Каждое утро стучал железный засов, входили смеющиеся офицер и красивая женщина, она по-русски нам говорила:

— Кто хочет каши, быстро становитесь по двое в ряд. Поведем вас кормить...

Дети спотыкались, толкались, каши хотели все.

— Надо только двадцать пять человек, — пересчитывала женщина. — Не ссорьтесь, остальные подождите до завтра.

Я вначале верила, вместе с маленькими бежала, толкалась, а потом стала бояться: «Почему не возвращаются те, которых уводят кормить кашей?». Садилась под самую железную дверь при входе, и, когда нас уже было мало, женщина все равно меня не замечала. Она всегда стояла и считала ко мне спиной. Как долго это продолжалось, не скажу. Мне кажется... я тогда потеряла память...

Ни одной птицы и даже жука я в концлагере не видела. Мечтала: найти хотя бы червяка. Но они там не жили...

Слышим однажды: шум, крик, стрельба. Стучит железный засов — в барак к нам врываются родные солдаты с криком: «Детушки!». Берут нас на плечи, на руки, по несколько человек, потому что мы уже ничего не весим. Целуют, обнимают и плачут. Выносят на улицу...

Мы видим черную трубу крематория...

Несколько недель нас лечили, кормили. У меня спрашивают: «Сколько тебе лет?». Я отвечаю: «Тринадцать...» — «А мы думали: восемь». Когда окрепли, повезли нас в ту сторону, откуда восходит солнце.

Домой...

В ТЕМНОТЕ ДАЛЕКО СВЕТИТСЯ...

Ефим Фридлянд — 9 лет.

Сейчас — заместитель директора комбината силикатных изделий.

Детство кончилось... С первыми выстрелами. Во мне еще жил ребенок, но уже рядом с кем-то другим...

До войны я боялся один оставаться в квартире, а тут страх прошел. Ни в каких маминых домовых, которые сидят за печкой, я уже не верил, да и она их не вспоминала. Уезжали из Хотимска на подводе, мама купила корзину яблок, поставила возле нас с сестрой, и мы ели. Началась бомбежка, у сестрички в руках два красивых яблока, мы стали из-за них драться, она не отдавала. Мама ругается: «Прячьтесь!» — а мы делим яблоки. Дрались, пока я не попросил сестру: «Дай мне хотя бы одно яблоко, а то убьют нас, и не попробую». Она отдала одно, самое красивое. И тут бомбежка кончилась. Я не стал есть счастливое яблоко.

Ехали на подводе, а впереди нас шло стадо. От отца (до войны он был в Хотимске директором «Заготскота») мы знали, что это не обычные коровы, а племенное стадо, которое за большие деньги купили за границей. Помню, как отец не мог мне объяснить, сколько это — большие деньги, пока не привел пример, что каждая корова стоит, как трактор. Как танк. Раз танк, значит, очень много. Берегли каждую корову.

Поскольку рос я в семье зоотехника, животных любил. Когда после очередной бомбежки остались мы без телеги, я шел впереди стада, привязавшись к быку Ваське. У него в носу было кольцо, за кольцо привязана веревка, а концом веревки я себя привязывал. Коровы долго не могли привыкнуть к бомбежке, они были тяжелые, не приспособленные к большим переходам, у них трескались копыта, они страшно уставали. После обстрела их трудно было собрать. Но, если выходил на дорогу бык, они все шли за ним. А бык слушался одного меня.

Мать ночью выстирает где-нибудь мою белую рубашку... На рассвете: «Подъем!» — кричит старший лейтенант Турчин, который возглавлял обоз. Надеваю рубашку, беру быка, и идем. Вот помню, что все время я был в белой рубашке. В темноте она светится, далеко всем меня видно. Спал рядом с быком, под его передними ногами — так было теплее. Васька никогда не вставал первым, ждал, когда я встану. Чувствовал, что рядом с ним ребенок, и он может причинить боль. Я ложился с ним и никогда не волновался.

Пешком дошли до Тулы. Больше тысячи километров. Три месяца шли, шли уже босиком, все на нас изорвалось. Пастухов осталось мало. У коров раздувалось вымя, не успевали их выдаивать. Вымя болит, корова становится возле тебя и смотрит. У меня сводило руки, в день отдаивали по пятнадцать-двадцать коров. Как сейчас вижу: лежит на дороге корова с перебитой задней ногой, из посиневшего вымени капает молоко. Она смотрит на людей. Ждет. Солдаты остановились — и за винтовки: пристрелить, чтобы не мучилась. Я попросил их: «Подождите...».

Подхожу и сдаиваю на землю молоко. Корова благодарно лижет мне плечо. «Ну, — поднимаюсь, — теперь стреляйте». А сам убегаю, чтобы не видеть...

В Туле узнали, что весь пригнанный нами племенной скот пойдет на мясокомбинат, девать его больше неку-

да. К городу подходили немцы. Я надел белую рубашку и пошел прощаться к Ваське. Бык тяжело дышал мне в лицо...

...В мае сорок пятого... Мы возвращались домой. Подъезжали к Орше, в этот момент я стоял у окна. Подошла мама. Открыл окно. Мама говорит: «Ты слышишь запах наших болот?». Я плакал редко, а тут заревел. В эвакуации мне даже во сне снилось, как косят болотное сено, как собирают его в стожки и как оно, немного подсохнув, проявившись, пахнет. Нигде не повторяющийся родной запах болотного сена. Мне кажется, что только у нас, в Беларуси, такой острый запах болотного сена, он преследовал меня всюду. Я его даже во сне слышал.

В день Победы выбежал на улицу сосед дядя Коля и стал стрелять вверх. Мальчишки окружили его:

— Дядя Коля, дайте я!

— Дядя Коля, дайте я...

Он давал всем. И я выстрелил в первый раз...

«НА ЧИСТЫЙ ПОЛ,

КОТОРЫЙ Я ТОЛЬКО ВЫМЫЛА...»

|||||

Маша Иванова — 8 лет.

Сейчас — учительница.

У нас была дружная семья. Все любимые...

Мой отец воевал на гражданской. С тех пор ходил с костылями. Но он возглавил колхоз, хозяйство у него было передовое. Когда я научилась читать, он показывал мне вырезки из газеты «Правда», где писалось о нашем колхозе. Как лучшего председателя, отца перед войной посылали на съезд колхозников-ударников и на сельскохозяйственную выставку в Москву. Он привез мне оттуда красивые детские книги и железную коробку с шоколадными конфетами.

Мы с мамой любили нашего папу. Я его обожала, а он обожал нас. Меня и маму. Может, я украшаю свое детство? Но все довоенное в памяти радостное и светлое. Потому что... Это было детство. Настоящее детство...

Запомнились песни. С поля женщины возвращались с песнями. Солнце закатывается за горизонт, а из-за горы протяжно доносится:

Уже пора домой. Пора.

Уже вечерняя заря...

Я бегу навстречу песне — там моя мама, я слышу ее голос. Мама подхватывает меня на руки, обнимаю ее

крепко за шею, прыгиваю и бегу впереди, а песня догоняет, она заполняет весь мир вокруг — и так весело, и так хорошо!

После такого счастливого детства... Вдруг... Сразу — война!

В первые дни отец ушел... Его оставили работать в подполье. Дома он не жил, потому что его у нас знали все. Он приходил к нам только ночью.

Однажды услышала, как он разговаривал с мамой:

— Подорвали немецкую машину на шоссе возле...

Я закашляла на печи, родители испугались.

— Об этом никто не должен знать, доченька, — предупредили они меня.

Я стала бояться ночи. Отец придет к нам, а фашисты дознаются и заберут нашего папу, которого я так люблю.

Все время ждала его. Забиралась в самый дальний угол нашей большой печки, обнимала бабушку, но боялась заснуть, если засыпала, то часто просыпалась. В трубе воет вьюга, вьюшка дрожит и позванивает. У меня мысль: не проспать бы папу.

Вдруг мне начинает казаться, что это не буря воет, а плачет мама. У меня горячка. Тиф.

Поздно ночью пришел отец. Первой услышала его я и позвала бабушку. Отец был холодный, а я пылала жаром, он сидел возле меня и не мог уйти. Усталый, постаревший, но такой свой, такой родной. Неожиданно в дверь постучали. Громко постучали. Отец даже кожух не успел накинуть, в дом вломились полицаи. Вытолкнули его на улицу, я — за ним, он протянул ко мне руки, но его ударили автоматом по рукам. Били по голове. Босиком я бежала за ним по снегу до самой речки и кричала: «Папочка! Папочка...». Дома причитала бабушка: «А где же Бог? Куда он прячется?».

Отца убили...

Бабушка не смогла пережить такое горе. Плакала все тише и тише и через две недели умерла ночью на печке,

а рядом спала я и обнимала ее, мертвую. В доме никого больше не было, мама с братом прятались у соседей.

После папиной смерти мама тоже стала совсем другая. Из дому никуда не уходила. Говорила только о папе, быстро уставала, а до войны была стахановкой, везде самой первой. Меня она не замечала, а я все время старалась попасться ей на глаза. Чем-нибудь ее обрадовать. Но она оживала только тогда, когда мы вспоминали папу.

Помню, как прибежали счастливые бабы:

— Из соседней деревни прислали на лошади хлопчика — война кончилась. Скоро наши мужики начнут возвращаться.

Мама упала на чистый пол, который я только вымыла...

И ЧТО ОН ДУМАЛ...»

Юра Карпович — 8 лет.

Сейчас — шофер.

Я видел то, что нельзя видеть... Человеку нельзя. А я был маленький...

Я видел, как солдат бежит и как будто спотыкается. Падают. Долго царапает землю, обнимает ее...

Я видел, как гнали через деревню наших военнопленных. Длинные колонны. В рваных и обожженных шинелях. Там, где они стояли ночью, была обгрызена кора с деревьев. Вместо еды им забрасывали дохлую лошадь. Они рвали ее.

Я видел, как ночью пошел под откос и сгорел немецкий эшелон, а утром положили на рельсы всех тех, кто работал на железной дороге, и пустили по ним паровоз...

Я видел, как запрягали в брички людей. У них были желтые звезды на спине. Их погоняли кнутами. Весело катались.

Я видел, как у матерей штыками выбивали из рук детей. И бросали в огонь. В колодезь... А до нас с мамой очередь не дошла...

Я видел, как плакала соседская собака. Она сидела на золе соседской хаты. Одна. У нее были глаза старого человека...

А я был маленький...

Я вырос с этим... Я вырос мрачным и недоверчивым, у меня тяжелый характер. Когда кто-то плачет, мне не жалко, а, наоборот, легче, потому что сам я плакать не умею. Два раза женился, и два раза от меня уходила жена, никто долго не выдерживал. Меня трудно любить. Я знаю... Я сам знаю...

Прошло много лет... Теперь я хочу спросить: а смотрел ли на это Бог? И что он думал...

«А БЕЛЫЙ СВЕТ — НЕНАГЛЯДНЫЙ...»

Людмила Никанорова — 12 лет.

Сейчас — инженер.

Хочу вспомнить... Говорили ли мы до войны о войне?

По радио пели песни: «Если завтра война» и «Броня крепка, и танки наши быстры». Детям можно было спокойно засыпать...

Жила наша семья в Воронеже. Город моего детства... В школах много учителей из старой интеллигенции. Высокая музыкальная культура. Детский хор нашей школы, где я пела, имел большую популярность в городе. По-моему, все любили театр.

Наш дом был заселен семьями военных. Дом четырехэтажный с коридорной системой, во дворе летом цвела душистая акация. В скверике перед домом мы много играли, там было где спрятаться. Мне очень повезло с родителями. Папа — кадровый военный. Военная форма все детство у меня перед глазами. У мамы — мягкий характер, золотые руки. Я — единственная дочь. Как и полагается в таком случае, я настойчивая, капризная и застенчивая одновременно. Занимаюсь музыкой и хореографией при Доме Красной Армии. По воскресеньям — единственный день, когда он не занят — папа любил с нами гулять по городу. Нам с мамой нужно было идти слева, так как папа то и дело приветствовал встречаемых военных. Брал под козырек.

Еще он любил читать со мной стихи, особенно Пушкина:

Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни...

Тот июньский день... Я в красивом платье пришла с подругой в сад Дома Красной Армии на спектакль, начало которого назначено на двенадцать часов дня. Видим: все слушают репродуктор, укрепленный на столбе. Лица растерянные.

— Слышишь, война! — говорит подруга.

Мчусь домой. Рванула дверь. В квартире тихо, мамы дома нет, папа сосредоточенно бреется перед зеркалом, одна щека в мыльной пене.

— Папа, война!

Папа повернулся ко мне и продолжает бриться. Я увидела его глаза с незнакомым мне выражением. Помню, что репродуктор на стене был выключен. Это все, что он мог сделать, чтобы оттянуть для нас с мамой момент страшного известия.

Жизнь мгновенно изменилась... Я совсем не помню папу дома в эти дни. Стал другим быт. Проводились общие собрания жильцов: как тушить пожар, если загорится дом, как завешивать окна на ночь — город должен быть без огней. Исчезли с прилавков продукты, появились продуктовые карточки.

И вот настал тот последний вечер. Он был совсем не таким, как я теперь вижу в кино: слезы, объятия, прыжки в поезд на ходу. У нас этого не было. Все шло так, как будто папа собирается на маневры. Мама сложила его вещи, уже пришит воротничок, петлицы полевые, проверены пуговицы, носки, платки. Папа скатывает шинель, кажется, я ее придерживала.

В коридор вышли все втроем. Час был поздний, к этому времени в доме закрывались все двери, кроме парадной, чтобы выйти во двор, нам пришлось с первого этажа подняться на второй, пройти длинным коридором и вновь спуститься. На улице темно, и наш всегда внимательный папа сказал:

— Дальше меня провожать не надо.

Обнял нас:

— Все будет хорошо. Не волнуйтесь, девочки.

И ушел.

С фронта он прислал несколько писем: «Скоро победим, тогда заживем по-другому. Как ведет себя наша Людмилочка?». Не могу вспомнить, чем была занята я до первого сентября. Конечно, доставляла маме огорчения тем, что не спросясь уходила надолго к подругам. Воздушная тревога стала, можно сказать, обычной. К ней все быстро привыкли: не спускались в бомбоубежище, а сидели по домам. Меня не раз бомбежка заставляла на улицах в центре. Вбегала в магазин или в подъезд — и все.

Ходило много слухов. Но они не остались в памяти. В моей детской голове... Мама дежурила в госпитале. Каждый день прибывали поезда с ранеными.

Что удивительно — на прилавках опять появились товары, люди их покупали. Несколько дней мы с мамой решали: не купить ли новое пианино? Решили пока не покупать, подождать папу. Все-таки очень большая покупка.

Уму непостижимо, но мы начали учебу, как обычно, первого сентября. А от папы весь август — ни слова. Верим и ждем, хотя знаем уже такие слова, как «окружение» и «партизаны». В конце месяца объявили: быть готовыми в любой момент к эвакуации. Точный день узнали, кажется, за сутки. Мамам досталось. Все равно мы были убеждены, что уезжаем на пару месяцев, пересидим где-нибудь в Саратове и вернемся. Узел — постель, узел — посуда и чемодан с одеждой. Мы готовы.

В пути запомнила такую картину: без свистка состав наш отходит, хватаем кастрюли с костров, нет времени их погасить — едем, и вдоль насыпи — цепочки огоньков. Эшелон дошел до Алма-Аты, затем возвратился в Чимкент. И так несколько раз — туда-сюда. Наконец, на медлительных волах,пряженных в можары (возы),

въехали мы в аул. Увидела впервые кибитку... Как в восточной сказке... Все цветное, необычное. Мне интересно.

Но когда я заметила у мамы первый седой волос — онемела. Я начала стремительно взрослеть. Мамины руки! Не знаю, чего они не умели. Как у мамы хватило догадки взять в последний момент швейную машинку (без коробки, в подушке) и бросить в отъезжавшую к эшелону машину. Машинка — наша кормилица. По ночам мама ухитрялась шить. Спала ли моя мама?

А на горизонте снежные отроги Тянь-Шаня, весной — степь, красная от тюльпанов, а осенью — гроздь винограда, дыни. Но как это купить?! И война! Мы искали нашего папочку! За три года написали три десятка запросов: штаб армии, полевая почта номер сто шестнадцать, наркомат обороны, ГУК — Главное управление кадров Красной Армии в Бугуруслане... Отовсюду приходил ответ: «В списках убитых, раненых не значится...». Раз не значится — ждем и ждем, надеемся.

Радио стало сообщать радостные вести. Наши войска освобождают один город за другим. Вот и Орша освобождена. Это — родина мамы. Там бабушка, мамины сестры. Освобожден и Воронеж... Но Воронеж без папы нам чужой. Списались и едем к бабушке. Ехали всюду в тамбуре — надо было суметь войти в вагон. Пять суток в тамбуре...

Мое любимое место в бабушкином доме — за теплой русской печкой. В школе сидим в пальто, у многих девочек пальто сшито из шинели, у мальчиков — просто шинели. Рано утром слышу из репродуктора: победа! Мне пятнадцать лет... Я надеваю предвоенный подарок папы — шерстяную (гарусную) кофточку и новенькие туфли на каблуках и иду в школу. Мы сберегли эти вещи, они были приобретены на вырост, вот я и доросла.

Вечером сидим за столом, на столе с нами папина фотокарточка и потрепанный томик Пушкина... Это его подарок невесте — маме. Я вспоминаю, как мы с папой

читали вместе стихи и как он, когда ему что-нибудь особенно нравилось, говорил: «А белый свет — ненаглядный». Он всегда повторял эти слова в хорошие минуты.

Такого любимого папу я не могу представить неживым...

«ПРИНОСИЛИ ДЛИННЫЕ УЗКИЕ КОНФЕТЫ...

ПОХОЖИЕ НА КАРАНДАШИ...»

||

Леонида Белая — 3 года.

Сейчас — гладильщица.

Запоминает ли что-нибудь ребенок в три года? Я вам отвечу...

Три-четыре картинки я запомнила совершенно отчетливо.

...За хатой на лугу какие-то дяди занимаются гимнастикой, купаются в речке. Брызгаются, кричат, смеются, гоняются друг за другом, как наши деревенские мальчишки. Только к тем мама меня пускала, а здесь испуганно кричит и не разрешает выходить из хаты. На мой вопрос: «Кто эти дяди?» — со страхом отвечает: «Немцы». Другие дети бегали к реке и приносили длинные узкие конфеты... Угощали меня...

Эти же дяди днем маршируют по нашей улице. Перестреляли всех собак, те на них лаяли.

После этого мама запретила мне появляться днем на улице. Вместе с котом мы сидели днями дома.

...Куда-то бежим... Роса холодная. У бабушки мокрая юбка до пояса, а у меня и платье мокрое, и головка. В лесу прячемся, я сохну в бабушкином пиджаке, платье сушится.

Кто-то из соседей залез на дерево. Я слышу: «Горит... Горит... Горит...». Одно слово...

...Возвращаемся в деревню. Вместо хат — черные головешки. Там, где жили наши соседи, находим гребешок. Я узнаю этот гребешок, соседская девочка, ее звали Анютка, меня им расчесывала. Мама не может мне ответить: где она и где ее мама? Почему они не возвращаются? Моя мама держится за сердце. А я помню, как Анютка приносила мне от дядей, которые весело купались в речке, длинные узкие конфеты. Такие длинные, как карандаши... Очень вкусные, мы таких не знали... Она была красивая, ей всегда давали много конфет. Больше всех.

Ночью засовываем ноги в золу, чтобы согреться и заснуть. Зола теплая, мягкая...

«СУНДУЧОК БЫЛ КАК РАЗ ЕМУ ПО РОСТУ...»

Дуня Голубева — 11 лет.

Сейчас — доярка.

Война... А пахать надо...

Мама, сестра и брат поехали в поле. Лен сеять. Они поехали, а через час, больше не прошло, бегут женщины:

— Твоих, Дуня, постреляли. На поле лежат...

Мама на мешке лежала, а из мешка зерно сыпалось. Там много-много дырочек от пуль...

Осталась я одна с маленьким своим племянником. Моя сестра недавно родила, а муж ее был в партизанах. Вот с этим мальчиком...

Корову доить не умею. Она ревет в хлеву, чувствует, что хозяйки нет. Собака всю ночь воет. И корова...

Маленький ко мне лезет... Грудь просит... Молока... Я вспомнила, как сестра его кормила... Оттяну ему сосок, он цокает, цокает и заснет. Молока у меня нет, но он устанет, натрудится и заснет. Где он простудился? Как заболел? Сама малая, что я понимала. Кашляет, кашляет. Есть нечего. Коровку уже полицаи забрали.

И мальчик умер. Стонал-стонал и умер. Слышу: тихо стало. Подняла тряпочки, он черный лежит, только личико белое, чистое осталось. Белое личико, а сам весь черный.

Ночь. Темные окна. Куда я пойду? Буду ждать утра, утром людей позову. Сижусь и плачу, что никого в хате нет, даже этого маленького мальчика. Стало днеть, по-

ложила я его в сундучок... Сохранился у нас дедушкин сундучок, где у него инструменты лежали, небольшой сундучок, как посылочка. Боялась, что придут коты или крысы, обгрызут. Он такой маленький лежит, еще меньше, чем живой. В чистое полотенце завернула. Льняное. И поцеловала.

Сундучок был как раз ему по росту...

XX

Сейчас — штукатур.

Мама надела свое зеленое пальто, сапоги, завернула в теплое одеяло шестимесячную сестренку. И пошла. Я сидела и ждала у окна, когда она вернется. Вдруг вижу: ведут по дороге несколько человек, и среди них моя мама с сестренкой. Около нашего дома мама повернула голову и посмотрела в окно. Не знаю: увидела она меня или нет? Фашист ударил ее прикладом... Ударил так, что она согнулась...

Ночью мне приснился сон, будто мама топит печь, огонь ярко горит, и плачет моя сестренка. Мама меня зовет... А я где-то далеко и не слышу. Я в страхе просыпалась: мама меня зовет, а я не откликаюсь. Мама плакала во сне... Я не могла себе простить, что она плачет. Мне долго снился этот сон... Всегда один и тот же. Я хотела и... боялась его увидеть...

223

...В детдоме мне подарили оранжевое платье, с карманчиками. Так любила его, что всех просила: «Если умру, похороните в этом платье». Мама умерла, папа умер, и я скоро умру. Долго-долго ждала, когда умру. Всегда плакала, когда слышала слово «мама». Однажды меня за что-то отругали и поставили в угол, я убежала из детдома. Несколько раз убегала искать маму.

День рождения свой я не помнила... Сказали: выбери сама любой день, какой хочешь. Ну, какой тебе понравится. А я любила майские праздники. «Но, — думаю, — никто не поверит, если скажу, что я родилась Первого мая, и второго — не поверят, а если скажу — третьего мая, то это будет похоже на правду». Именинников объединяли по кварталу, делали нам праздничный стол с конфетами и чаем, дарили подарки: девочкам что-нибудь на платье, мальчикам — рубашки. Один раз в детдом пришел незнакомый дедушка и принес много вареных яиц, раздавал всем и так радовался, что делает нам приятное. Как раз на мой день рождения...

Я уже была большая, но скучала без игрушек. Когда ложилась спать и все засыпали, вытягивала из подушки перышки и рассматривала их. Это была моя любимая игра. Если болела, лежала и мечтала о маме. Я хотела быть одна у мамы... и чтобы мама меня баловала.

Долго не росла... Мы все в детдоме плохо росли. Я думаю, что, наверное, от тоски. Мы не росли оттого, что мало слышали ласковых слов. Без мам не росли...

[illegible]

Но востануте вы, малышки, И в раскаты бьются маки.

Под Смоленском и нах разбей с звяздывораздичим разз

Вернулись с мамой к себе в Витебск. Дом наш был разбит, но бабушка нас ждала... Приютила нас всех еврейская семья, двое очень больных и очень добрых стариков. Мы все время боялись за них, потому что в городе везде развешивали объявления о том, что евреи должны явиться в гетто, мы просили, чтобы они никуда не выходили из дома. Однажды нас не было... Я с сестрой где-то играла, а мама куда-то отлучилась. И бабушка... Когда вернулись, обнаружили записочку, что хозяева ушли в гетто, потому что боятся за нас, нам надо жить, а они — старые. По городу развесили приказы: русские должны сдавать евреев в гетто, если знают, где они скрываются. Иначе тоже — расстрел.

Прочитали эту записочку и побежали с сестрой к Двине, моста в том месте не было, в гетто людей перевозили на лодках. Берег оцепили немцы. На наших глазах загружали лодки стариками, детьми, на катере дотаскивали до середины реки и лодку опрокидывали. Мы искали, наших стариков не было. Видели, как села в лодку семья — муж, жена и двое детей, когда лодку перевернули, взрослые сразу пошли ко дну, а дети все время всплывали. Фашисты, смеясь, били их веслами. Они ударят их в одном месте, те всплывают в другом, догоняют и снова бьют. А они не тонули, как мячики...

Стояла такая тишина, а может, у меня заложило уши, и мне казалось, что было тихо, все замерло. Вдруг среди этой тишины раздался смех. Какой-то молодой, утробный смех... Рядом стояли молодые немцы, наблюдая все это, они смеялись. Я не помню, как пришли мы с сестрой домой, как я ее дотащила. Тогда, видно, очень быстро выросли дети, ей было три года, она все понимала, молчала и не плакала.

Я боялась ходить по улицам, и как-то спокойнее себя чувствовала, когда ходила по развалинам. Однажды ночью в дом ворвались немцы и начали нас расталкивать. Поднимать. Я спала с сестрой, мама с бабушкой.

Выгнали всех на улицу, не дали ничего с собой взять, а это было начало зимы, погрузили на машины и повезли к поезду.

Алитус — так назывался литовский город, в котором мы оказались через несколько недель. На станции построили в шеренги и повели, по дороге мы встретили литовцев. Они, вероятно, знали, куда нас ведут, одна женщина подошла к маме и говорит: «Вас ведут в лагерь смерти, дайте мне свою девочку, я ее спасу. Если останетесь живы, найдете». Сестра была красивенькая, все ее жалели. Но какая мать отдаст своего ребенка?

В лагере у нас сразу забрали бабушку. Сказали, что стариков переводят в другой барак. Мы ждали, что бабушка даст о себе знать, но она исчезла. Потом откуда-то стало известно, что всех стариков в первые же дни отправили в газовую камеру. Следом за бабушкой однажды утром увели сестру. Перед этим несколько немцев ходили по бараку и переписывали детей, выбирали красивых, обязательно беленьких. У сестры были белые кудри и голубые глаза. Записывали не всех, именно таких. Меня не взяли, я была черненькая. Немцы гладили сестру по головке, она им очень нравилась.

Сестру уводили с утра, а возвращали вечером. С каждым днем она таяла. Мама ее расспрашивала, но она ничего не рассказывала. Или их напугали, или им что-то там давали, какие-нибудь таблетки, но она ничего не помнила. Потом мы узнали, что у них брали кровь. Крови, видно, брали много, через несколько месяцев сестра умерла. Она умерла утром, когда пришли снова за детьми, она уже была мертвая.

Бабушку я очень любила, потому что всегда оставалась с ней, когда папа с мамой уходили на работу. Но мы не видели ее смерти и все надеялись, что она жива. А смерть сестры была рядом... Она лежала как живая... Лежала красивая...

В соседнем бараке жили орловские женщины, они ходили в шубах, шубы у них расклешенные, у каждой много детей. Их выгоняли из барака, строили по шесть человек и заставляли маршировать вместе с детьми, дети цеплялись за них. Даже ставили какую-то музыку... Если женщина шла не в ногу с остальными, били плеткой. Ее бьют, а она все-таки идет, потому что знает: если упадет, то ее расстреляют и ее детей расстреляют. У меня поднималось что-то в груди, когда я видела, как они вставали и шли. В своих тяжелых шубах...

Взрослых гоняли на работу, они доставали из Нема-на бревна и таскали их на берег. Там же, в воде, многие умирали. Один раз комендант схватил меня и поставил в группу, которая должна была идти на работу. Тогда из толпы выбежал старик, оттолкнул меня и встал на мое место. Когда вечером мы с мамой хотели отблагодарить его, мы его не нашли. Нам сказали, что он умер в реке.

Моя мама была учительницей. Она твердила: «Надо остаться человеком». Даже в аду она старалась сохранить какие-то привычки нашего дома. Не знаю, где она стирала и когда, но на мне всегда все было чистое, стираное. Зимой она стирала снегом. Снимет с меня все, я сижу на нарах под одеялом, а она стирает. У нас было только то, что было на нас.

Но все-таки мы отмечали наши праздники... Приберегали на этот день чего-нибудь съестного. Кусочек вареной свеклы. Или морковку. Мама пыталась улыбаться в этот день. Она верила, что придут наши. Благодаря этой вере мы и выжили.

После войны я пошла не в первый, а сразу в пятый класс. Я была взрослая. Но очень замкнутая, долго сторонилась людей. На всю жизнь полюбила одиночество. Меня тяготили люди, мне трудно было с ними. Что-то хранила в себе свое, чем не могла ни с кем поделиться.

Мама, конечно, замечала, как я изменилась. Она старалась отвлечь меня, придумывала праздники, не

забывала мои именины. У нас постоянно были гости, ее друзья. Она сама звала моих знакомых девочек. Мне это трудно было понять. А ее тянуло к людям. И я не догадывалась, как мама меня любит.

Опять меня спасает любовью...

И НАШИ САМОЛЕТЫ В ЭТОМ НЕБЕ...»

Петр Калиновский — 12 лет.

Сейчас — инженер-строитель.

До войны...

Я помню, что мы учились войне. Готовились. Учились стрелять, метать гранаты. Даже девочки. Все хотели сдать на значок ворошиловского стрелка, горели желанием. Пели песню «Гренада». Там были прекрасные слова о том, что герой уходит воевать, «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Продолжить дело революции. Мировой революции! Да, это были мы. Это были наши мечты.

В детстве я сам сочинял сказки. Научился рано читать и писать. Был одаренный мальчик. Мама хотела сделать из меня, по-моему, артиста, а моя мечта была научиться летать, надеть форму летчика. И в этом ведь тоже наше время. Я, например, не встречал до войны мальчишку, который бы не мечтал стать летчиком или моряком. Нам нужно было или небо, или море. Весь земной шар!

Теперь представьте, что творилось со мной... С нашими людьми... Что творилось с нами, когда мы увидели немцев в родном городе. На родных улицах. Я плакал. Когда наступала ночь, люди закрывали ставни, и они плакали за закрытыми окнами.

Папа ушел в партизаны... Через улицу соседская семья надела белые вышитые сорочки, они встречали немцев с хлебом и солью. Их снимали на кино пленку.

Когда я увидел первых повешенных наших людей, я прибежал домой: «Мама, наши люди висят в небе». Впервые я испугался неба, у меня после этого случая изменилось отношение к небу, я стал настороженно к нему относиться. Мне запомнилось, что люди висели очень высоко, а может, мне так показалось из-за страха. Видел же я убитых людей на земле? Но так не пугался.

Скоро папа вернулся за нами... Теперь мы уходили вместе...

Один партизанский пост, второй... И вдруг слышим: на весь лес русские песни поют. Узнаю голос Руслановой. В отряде был патефон и три или четыре пластинки, заигранные до основания. Стоял ошеломленный и не верил, что я в партизанах и здесь поют песни. Два года я жил в городе, в который пришли немцы, я забыл, как люди поют. Я видел, как они умирают... Как они боются...

В сорок четвертом году участвовал в минском параде партизан. Шел крайним в правой шеренге, меня поставили так, чтобы я увидел трибуну. «Ты еще не вырос, — говорили партизаны, — среди нас затеряешься и ничего не увидишь, а тебе надо этот день запомнить». Среди нас не было фотографа. А жаль. Я не могу представить, каким я был тогда. А я хотел бы знать... Увидеть свое лицо...

Трибуну не запомнил. Запомнил синее-синее небо. И наши самолеты в этом небе. Мы их так ждали, всю войну ждали...

«КАК СПЕЛЫЕ ТЫКВЫ...»

Яков Колодинский — 7 лет.

Сейчас — учитель.

Первые бомбежки...

Начнут бомбить... Мы таскали в сад под вишни подушки, одежду, подушки большие, нас за ними не видно, одни ноги торчат. Самолеты улетали, таскали все назад в хату. И так несколько раз на день. А потом уже не жалко было ничего, мать только нас, детей, соберет, остальное бросали.

Тот день... Мне кажется, я что-то добавил из рассказов отца, но многое сам помню.

Утро... Туман на огороде. Уже коров выгнали. Мать будит меня, дает кружку теплого молока. Нам скоро идти в поле. Отец клепает косу.

— Володя, — стучит в окно сосед и зовет отца.

Тот выходит на улицу.

— Бежим... Немцы ходят со списком по деревне. Кто-то переписал всех коммунистов. Учительницу забрали...

Вдвоем они поползли огородами к лесу. Через какое-то время заходят к нам два немца и полицей.

— Где батька?

— Уехал на сенокос, — ответила мать.

Походили по хате, посмотрели, нас трогать не стали и вышли.

Утренняя синева еще дымкой стелется. Зябко. Смотрим с мамой из-за калитки: одного соседа на улицу вы-

толкали, вяжут ему руки, учительницу ведут... Связывают всем руки сзади и ставят по два человека. Я никогда не видел связанного человека. По мне мелкая дрожь пошла. Мать гонит: «Иди в хату. Надень пиджачок». Я в маечке стою, меня дрожь бьет, но я в хату не иду.

Наша хата стояла как раз посредине деревни. К ней всех сгоняли. Все быстро делалось. Связанные люди стояли, опустив головы. По списку пересчитали их и погнали за деревню. Было много деревенских мужчин и учительница.

Женщины и дети за ними побежали. Гнали их быстро. Мы отстали. Добежали до последнего сарая, слышны выстрелы. Люди начинают падать, то упадет, то поднимется. Быстро их постреляли и собираются уезжать. Один немец с мотоциклом разворачивается и объезжает этих убитых людей. У него в руках что-то тяжелое... Или дубинка, или заводная ручка от мотоцикла... Не запомнил... Он, не слезая с мотоцикла, на тихом ходу раскалывает всем головы... Другой немец хотел из пистолета достреливать, этот махнул рукой, мол, не надо. Все поехали, а он не уехал, пока всем головы не расколол. Я никогда раньше не слышал, как трещат человеческие кости... Мне запомнилось, что они трещали, как спелые тыквы, когда отец их рубил топором, а я выбирал семечки.

Мне так стало страшно, что я бросил маму, бросил всех и куда-то побежал. Один. Спрятался не в хате, а почему-то в сарае, меня мать долго искала. Я два дня не мог слова выговорить. Ни одного звука.

На улицу боялся выйти. Через окно видел: один несет доску, второй топор, третья с ведром бежит. Тесали доски, запах свежеструганных досок стоял в каждом дворе, потому что почти в каждом дворе был гроб. У меня от этого запаха до сих пор ком к горлу поднимается. До сего дня...

В гробу лежали знакомые мне люди. Ни у кого не было головы. Вместо головы что-то в белом платочке... То, что собрали...

...Отец вернулся с двумя партизанами. Тихий вечер, коров пригнали. Надо ложиться спать, а мать нас собирает в дорогу. Надели костюмчики. У меня еще два брата было — одному четыре года, другому девять месяцев. Самый большой — я. Дошли до кузницы, там остановились, и отец оглянулся. Я тоже оглянулся. Деревня уже была похожа не на деревню, а на черный незнакомый лес.

У мамы на руках маленький, отец несет узлы и среднего брата. А я за ними не поспеваю. Молодой партизан говорит: «Дайте-ка его мне на горб».

Он нес пулемет и меня...

XX

Сейчас — художник.

В Минск мы приехали после войны. А девочка я ленинградская. Пережила там блокаду. Ленинградскую блокаду... Когда умирал от голода целый город, мой любимый, красивый город. У нас умер папа... Спасла детей мама. До войны она была «огонек». В сорок первом родился братик Славик. Сколько это ему было, когда блокада началась? Шесть месяцев, вот-вот шесть месяцев... Она и этого крошку спасла... Всех нас, троих... А папу мы потеряли. В Ленинграде у всех умирали папы, папы умирали скорее, а мамы оставались. Им, наверное, нельзя было умирать. На кого бы остались мы?

236

заячьей капусты. Это сорок второй год, на Урале тоже голодно, но все равно это не так страшно, как в Ленинграде.

В этом детдоме, где я была, собрали одних ленинградских детей, нас нельзя было накормить. Нас долго не могли накормить. Мы сидели на уроках и жевали бумагу. Нас кормили осторожно... Я сидела за столом, это был завтрак. И я увидела кошку. Живую кошку... Выскочила из-за стола: «Кошка! Кошка!». Все дети увидели и стали за ней гоняться: «Кошка! Кошка!». Воспитательницы были местные, они смотрели на нас как на сумасшедших. В Ленинграде живых кошек не осталось... Живая кошка — это была мечта. На целый месяц еды... Мы рассказывали, а нам не верили. Помню, что нас много гладили. Обнимали. Никто на нас не повышал голоса, пока не отросли волосы после дороги. Всех перед отъездом постригли «под нулевку», мальчиков и девочек одинаково, а у некоторых волос не осталось из-за голода. Мы не баловались, не бегали. Сидели и смотрели. И ели все...

Не помню, кто нам в детдоме рассказал о пленных немцах... Когда я увидела первого немца... то я уже знала, что это пленный, они работали за городом на угольных коях. До сегодняшнего дня не понимаю, почему они прибегали к нашему детдому, именно к ленинградскому?

Когда я его увидела... Этого немца... Он ничего не говорил. Не просил. У нас только кончился обед, и я, видно, еще пахла обедом, он стоял возле меня и нюхал воздух, у него непроизвольно двигалась челюсть, она как будто что-то жевала, а он пробовал держать ее руками. Останавливать. А она двигалась и двигалась. Я совершенно не могла видеть голодного человека. Абсолютно! У нас у всех была эта болезнь... Побежала и позвала девочек, у кого-то остался кусочек хлеба, мы отдали ему этот кусочек.

Он благодарил и благодарил.

— Данке шен... Данке шен...

На следующий день пришел к нам со своим товарищем. И так повелось... Ходили они в тяжелых деревянных башмаках. Стук-стук... Как услышу этот стук, выбегаю...

Мы уже знали, когда они придут, даже ждали их. Выбегали с тем, у кого что находилось. Когда я дежурила на кухне, я оставляла им весь свой дневной кусочек хлеба, а вечером выскребала кастрюли. Все девочки что-нибудь им оставляли, а оставляли ли мальчишки, не помню. Мальчишки наши были постоянно голодные, им все время не хватало еды. Воспитательницы нас отчитывали, потому что у девочек тоже случались голодные обмороки, но мы тайком все равно оставляли еду для этих пленных.

В сорок третьем они уже к нам не приходили, в сорок третьем году стало легче. Урал уже не так голодал. В детдоме был настоящий хлеб, давали вдоволь каши. Но я до сих пор не могу видеть голодного человека. Как он смотрит... Он не смотрит никогда прямо, всегда куда-то мимо... Недавно по телевизору показывали беженцев... Опять где-то война. Стреляют. Голодные люди стояли в очереди с пустыми мисочками. С пустыми глазами. Я помню эти глаза... Я выбежала в другую комнату, у меня истерика...

Первый год в эвакуации мы не замечали природу, все, что было природой, вызывало у нас одно желание — попробовать: съедобное ли оно? И только через год я увидела, какая красивая уральская природа. Какие там дикие ели, высокие травы, целые леса черемухи. Какие там закаты! Я стала рисовать. Красок не было, рисовала карандашом. Рисовала открытки, мы посылали их своим родителям в Ленинград. Больше всего любила рисовать черемуху. Карпинск пах черемухой.

Уже который год преследует желание — съездить туда. Страшно хочется увидеть — стоит ли наш детдом... Здание было деревянное — уцелело ли оно в новой жиз-

ни? Какой теперь городской парк? Хотела бы поехать весной, когда все зацветет. Теперь не представляю, что ягоды черемухи можно есть пригоршнями, а мы их ели. Ели даже тогда, когда они были еще зеленые. Горькие.

После блокады... Я знаю, что человек может есть все. Люди ели даже землю... На базарах продавали землю с разбитых и сгоревших Бадаевских продовольственных складов, особенно ценилась земля, на которую пролилось подсолнечное масло, или земля, пропитанная сгоревшим повидлом. Та и другая стоили дорого. Наша мама могла купить самую дешевую землю, на которой стояли бочки с селедкой, эта земля только пахла солью, а соли в ней не было. Один запах селедки.

Радоваться цветам... Молодой траве... Просто радоваться... Я научилась не скоро...

Через десятки лет после войны...

ТОГО БУДЕМ СТРЕЛЯТЬ...»

Вера Ждан — 14 лет.

Сейчас — доярка.

Я боюсь мужчин... Это у меня с войны...

Нас взяли под автоматы и повели, повели в лес. Нашли поляну. «Нет, — крутит головой немец. — Не тут...» Повели дальше. Полицаи говорят: «Роскошь положить вас, партизанских бандитов, в таком красивом месте. Положим в грязи».

Выбрали самое низкое место, там всегда стояла вода. Дали отцу и брату лопаты копать яму. А нас с мамой под деревом поставили смотреть. Мы смотрели, как они выкопали яму, брат последний раз копнул: «Эх, Верка!...». Ему шестнадцать лет было... Шестнадцать... Только-только...

Мы с мамой смотрели, как их расстреливали... Нельзя было отвернуться и закрыть глаза. Полицай следил... Брат упал не в яму, а перегнулся от пули и вперед ступил, сел возле ямы. Сапогами спихнули его в яму, в грязь. И больше всего страшно было уже не то, что их постреляли, а то, что в липучую грязь положили. В воду. Поплакать нам не дали, погнали в деревню. А их даже землею сверху не присыпали.

Два дня плакали мы с мамой. Плакали тихо, дома. На третий день приходят тот же немец и два полиция: «Собирайтесь хоронить своих бандитов». Мы пришли на то

место, они в яме плавают, там колодец уже, а не могила. Лопаты мы свои взяли, прикапываем и плачем. А они говорят: «Кто будет плакать, того будем стрелять. Улыбайтесь». Они заставляли нас улыбаться... Я нагнусь, он подходит и в лицо заглядывает: улыбаюсь я или плачу?

Стоят... Все молодые мужчины, красивые... Улыбаются... Я уже не мертвых, я этих, живых, испугалась. С того времени боюсь молодых мужчин...

Замуж не вышла. Любви не узнала. Боялась: а вдруг рожу мальчика...

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА...»

Ира Мазур — 5 лет.

Сейчас — строитель.

Наверное, я должна рассказать о своем одиночестве?
Как я этому научилась...

У одной девочки, у Леночки, одеяло было красное, а у меня коричневое. И когда летели немецкие самолеты, мы ложились на землю и накрывались одеялами. Снизу красным, а поверх моим, коричневым. Я девочкам говорила, что летчик сверху увидит коричневое и подумает — камень...

О маме в памяти осталось только, как боялась ее потерять. Я знала девочку, у которой мама погибла при бомбежке. Она все время плакала. Моя мама брала ее на руки и успокаивала. Потом... Мы с чужой тетей хоронили в деревне мою маму... Мы ее мыли, она лежала худенькая, как девочка. Я не боялась, я ее все время гладила. Как обычно пахли ее волосы и руки, куда ее ранило, не заметила. Видно, ранка была пулевая, маленькая. Почему-то думала, что ранка у мамы от пули маленькая, на дороге один раз я видела маленькие пули. И еще удивлялась: как этими пулечками можно убить большого человека? Даже меня — я же в тысячу, в миллион раз ее больше. Почему-то мне запомнился этот миллион, мне казалось, что это очень и очень много, так много, что нельзя сосчитать.

Мама не сразу умерла. Она долго лежала на траве, открывала глаза:

— Ира, мне надо тебе рассказать...

— Мама, я не хочу...

Мне казалось, что, если она мне скажет то, что хочет, она умрет.

Когда мы маму помыли, она лежала в платочке, с большой косой. Ну — девочка... Это уже сегодняшний мой взгляд на нее. Я уже старше ее в два раза, маме было двадцать пять лет. У меня сейчас дочка такая, и она даже внешне похожа на мою маму.

Что у меня осталось от детдома? Категоричный характер, я не умею быть мягкой, осторожной в словах. Прощать не умею. В семье жалуются, что я не очень ласковая. Можно ли вырасти ласковой без мамы?

В детдоме мне хотелось иметь свою, личную чашечку, чтобы она была только моя. Всегда завидовала: у людей остаются какие-то вещи с детства, а у меня их нет. Ни о чем я не могу сказать: «Это у меня с детства». А так хочется сказать, иногда даже придумать...

Другие девочки привязывались к нашим воспитательницам, а я любила нянечек. Они больше были похожи на наших воображаемых мам. Воспитательницы были строгие и аккуратные, а нянечки вечно растрепанные, по-домашнему ворчливые, могли отшлепать нас, но совсем не больно. По-матерински. Они нас мыли, стирали в бане, мы могли посидеть у них на коленях. Они дотрагивались до нашего голенького тела. А это только мама могла делать, вот я это понимала, они нас кормили, своими способами лечили от насморка и вытирали слезы. Когда мы попадали к ним в руки, это был уже не детдом, это начинался дом.

Часто слышу, как говорят: «моя мать» или «мой отец». Я не понимаю, как это — мать, отец? Будто это чужие люди. Только — мама или папа. А если бы они у меня были живы, я звала бы их: «мамочка» и «папочка».

Золотые это слова...

[illegible]

Сейчас — рабочая.

Нас было семеро детей. До войны мама смеялась: «Сонейко светит, все дети вырастут», началась война — плакала: «Такой лихой час, а детей в хате, что бобов...». Юзику — семнадцать лет, мне — одиннадцать, Ивану — девять, Нине — четыре года, Гале — три, Алику — два, Саше — пять месяцев. Дитя грудное, оно еще грудь сосало и плакало.

Мама что-то нам пекла из картошки, из картошки она могла сделать все — как сейчас говорят, сто блюд. К какому-то празднику готовились. Я помню, что в доме вкусно пахло. А отец косил у леса клевер. Немцы окружили дом и приказывают: «Выходи!». Вышли мама и мы, трое детей. Маму начали бить, она кричит:

Ее поставили к стенке под окном, а в окне — мы.

— Где твой старший сын?

Мама отвечает:

— Торф копает.

— Поехали туда.

Они заталкивают маму в машину и сами садятся.

Галя выбежала из хаты и кричит, к маме просится. Бросили и ее к маме в машину. А мама кричит:

— Дети, идите в хату...

Прибежал с поля отец, видно, ему передали люди, взял какие-то документы и бегом за мамой. И тоже крикнул нам: «Дети, идите в хату». Как будто хата нас спасет или там есть мама. Ждали мы во дворе... К вечеру залезли кто на ворота, кто на яблони: не идут ли наши папа с мамой и сестра с братом? Увидели — бегут с другого конца деревни люди: «Дети, кидайте хату и бегите. Ваших родных уже нет. А за вами едут...».

По картофельному полю поползли к болоту. Сидели там ночь, стало всходить солнце: что нам делать? Я вспомнила, что в колыбельке мы забыли маленькую. Пошли в деревню, забрали маленькую, она была живая, только посиневшая от крика. Брат Иван говорит: «Корми». Чем я буду ее кормить. У меня же грудей нет. А он испугался, что она умрет, и просит: «Попробуй...»

Заходит соседка:

— Детки, вас будут искать. Идите к тете.

А тетя наша жила в другой деревне. Мы говорим:

— Пойдем искать тетю, а вы скажите, где наши мама с папой и сестричка с братиком?

Она нам рассказал, что их расстреляли. Они лежат в лесу...

— Но вам туда не надо, детки.

— Мы будем уходить из деревни и зайдем попрощаться.

— Не надо, детки...

Проводила она нас за деревню, а туда, где лежали наши родные, не пустила.

Через много лет я узнала, что маме выкололи глаза и вырвали волосы, отрезали грудь. На маленькую Галю, которая спряталась под елку и не отзывалась, напустили овчарок. Те принесли ее по кусочкам. Мама еще была живая, мама все понимала... На ее глазах...

После войны остались мы с сестричкой Ниной вдвоем. Нашла я ее у чужих людей, забрала к себе. Пришли в райисполком: «Дайте нам комнатку, мы будем жить вдвоем». Дали нам коридор в рабочем общежитии. Я работала на фабрике, Нина в школе училась. Никогда я ее по имени не назвала, всегда: «Сестричка». Она у меня одна. Единственная.

Вспоминать не хочу. А рассказать свою беду людям надо. Трудно плакать одной...

«У НАС КАК РАЗ ВЫВЕЛИСЬ ЦЫПЛЯТА...

Я БОЯЛСЯ, ЧТО ИХ УБЬЮТ...»

||

Алеша Кривошей — 4 года.

Сейчас — железнодорожник.

Мое воспоминание... Единственное...

У нас как раз вывелись цыплята. Желтенькие, они катались по полу, шли ко мне на руки. Во время бомбежки бабушка собирала их в решето:

— Надо же, война — и цыплята.

Я боялся, что цыплят убьют. До сих пор помню, как я плакал из-за этого страха. Бомбят... Все бегут в погреб прятаться, а меня нельзя вынести из хаты. Обнимаю цыплят... Возьмет бабушка с собой решето с ними, тогда я иду. Иду и считаю: один цыпленок, два, три... Их было пять...

Бомбы считал. Одна упала, две... Семь...

Так считать научился...

КОРОЛЬ БУБНОВЫЙ...»

Галина Матусеева — 7 лет.

Сейчас — на пенсии.

Человек рождается...

Возле него сидят два ангела, и они дают ему судьбу. Назначают — сколько жить, длинный или короткий будет путь. А Бог сверху смотрит, это он послал ангелов, чтобы приветствовать новую душу. Сказать, что Он есть.

Моя ты хорошая... Я по глазам вижу: счастливый человек или нет. Не к каждому подойду на улице и останавливаю: «Молодой, красивый, можно спросить?». Бегут, бегут люди, а я выберу в толпе одного, будто узнаю, у меня что-то в груди отзовется, тепло сделается, и появятся слова. Жар речи. Я начинаю говорить... Судьбу читаю... Раскрою карты, а в картах все есть: что было и что будет, и как душа успокоится, и с чем она уйдет. Уйдет туда, откуда и пришла — на небо. Карты покажут... Человек гордый, а судьба его заранее на небесах написана. Есть там текст... Но каждый его по-своему читает...

Мы — цыгане... Вольный народ... У нас свои законы, цыганские. Наша родина там, где мы живем, и там, где радуется наше сердце, для нас — везде родина. Везде — под небом. Меня так отец учил, и мама учила. Кибитка колышется, трясется по дорогам, а мама мне наши молитвы читает. Напевает. Серый цвет... Цвет дороги,

цвет пыли... Цвет моего детства... Моя ты хорошая, а видела ли ты цыганский шатер? Круглый и высокий, как небо. В нем я родилась. В лесу. Под звездами. С пеленок ни ночных птиц, ни зверей не боюсь. Плясать и петь у костра научилась. Без песни не представить цыганской жизни, у нас каждый поет и пляшет — как говорит. Слова у наших песен нежные. Губительные... Я маленькая не понимала, а все равно плакала. Такие слова... Они крадутся к человеческому сердцу, дразнят его. Баюкают. Дорогой дразнят. Свободой. Большой любовью... Не зря говорят, что русский человек умирает дважды: один раз — за родину, второй раз — слушая цыганские песни.

Моя ты хорошая, зачем много вопросов задаешь? Сама расскажу...

Я в детстве видела счастье. Поверь мне!

Летом жили мы табором вместе. Одна семья. Оставались всегда у реки. Возле леса. В красивом месте. Утром птицы поют, и мама поет. Будит меня. А зимой на квартиры к людям просились, тогда люди были золотые. С добрым сердцем. Жили мы с ними хорошо. Но сколько лежал снег, столько весну ждали. Ухаживали за лошадьми, цыгане заботятся о лошадях, как о детях. В апреле... На Пасху кланялись добрым людям и собирались в дорогу. Солнце, ветер... Мы живем одним днем, сегодня есть счастье — кто-то тебя ночью обнимет, или дети здоровы и сыты — и ты счастлива. А завтра будет новый день. Мамины слова... Мама меня много не учила. Если ребенок от Бога, его долго учить не надо, он сам учится.

Так я росла... Мое недолгое счастье. Цыганское...

Проснулась утром от разговоров. От криков.

— Война!

— Какая война?

— С Гитлером.

— Пусть воюют. А мы — вольные люди. Птицы. В лесу живем.

Тут налетели самолеты. Построчили на лугу коров. Дым до неба... У мамы вечером карты так рассыпались, что она обхватила голову и каталась по траве.

Табор встал. Не движется. Мне скучно. Я люблю дорогу.

Однажды вечером подходит к костру старая цыганка. В морщинах, как сухая земля от солнца. Я ее не знаю, она из чужого табора. Издалека.

Она рассказала:

— Утром они окружили нас. На хороших, сытых конях. Гривы у этих коней блестели, подковы крепкие. Немцы сидели в седлах, а полицаи вытягивали цыган из шатров. Кольца с пальцев сдирали, рвали серьги с ушей. У всех женщин уши были в крови, а пальцы вывихнуты. Штыками кололи перины. Золото искали. А после начали стрелять...

Одна девочка попросила их: «Дяденьки, не стреляйте. Я вам цыганскую песенку спою». Они засмеялись. Она им спела, станцевала, тогда они ее расстреляли... Весь табор. Целый табор пропал. Шатры подожгли. Одни лошади остались. Без людей. Лошадей они с собой забрали.

Костер горит. Цыгане молчат. Я сижу возле мамы.

Утром — сборы: узлы, подушки, горшки летят в кибитку.

— Куда мы едем?

— В город, — отвечает мама.

— Зачем в город? — Мне жалко бросать речку. Жалко солнца.

— Немцы приказали...

Жить в Минске нам разрешили на трех улицах. У нас было свое гетто. Раз в неделю объявлялись немцы и сверяли по списку: «Айн цыгайнер... Цвай цыгайнер...». Моя ты хорошая...

Как жили?

Ходили с мамой по деревням. Просили. Кто пшеницы вынесет, кто кукурузы. Каждый звал к себе: «Ой, цыга-

ночка, заходи. Расскажи судьбу. У меня муж на фронте». Война разлучила людей, все в разлуке. В ожидании. Желали получить надежду.

Мама гадала. Я слушала... Король крестовый, король бубновый... Смерть — черная карта. Карта пик. Семерка... Любовь горячая — король белый. Военный человек — черный пиковый король. Скорая дорога — шестерка бубновая...

Со двора выйдет мама веселая, а в дороге плачет. Страшно сказать человеку правду: твой муж убит, твоего сына уже нет в живых. Земля их приняла, они — там. Карты свидетельствуют...

В одной хате остались ночевать. Я не спала... Видела, как в полночь женщины распустили длинные косы и ворожили. Каждая открывала окно, бросала в темную ночь зерно и слушала ветер: тихий ветер — суженый живой, а завоет, постучит в окно, то не жди его, не вернется. Ветер выл и выл. Стучал по стеклу.

Никогда нас так люди не любили, как в войну. В тяжелую минуту. Мама заговоры знала. Могла человеку помочь и животному: коров спасала, коней. Со всеми говорила на их языке.

Ходили слухи: один табор расстреляли, другой... Третий в концлагерь увезли...

Кончилась война, мы радовались друг другу. Встретишь — обнимешь. Нас осталось мало. А люди опять гадали и ворожили. Лежит в хате под иконой похоронка, а женщина все равно просит: «Ой, цыганочка, погадай. А вдруг мой — живой. Может, писарь ошибся?».

Мама гадала. Я слушала...

Первый раз сама погадала на базаре девочке. Ей большая любовь выпала. Счастливая карта. И она дала мне рубль. Я ей счастье подарила, пускай даже на одну минуту.

Моя ты хорошая, и ты будь счастлива! Иди с Богом. Расскажи о нашей цыганской судьбе. Люди мало знают...

Тэ авэс бахтало... С Богом!

«БОЛЬШАЯ СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ...»

Толя Червяков — 5 лет.

Сейчас — фотограф.

Если что-то осталось в памяти, то как одна большая семейная фотография...

На переднем плане отец с винтовкой и в офицерской фуражке, он носил ее и зимой. Фуражка и винтовка вырисовываются отчетливее, чем отцовское лицо. Очень хотелось мне иметь и то и другое — фуражку и винтовку. Мальчишка!

Рядом с отцом — мама. Саму маму тех лет не помню, больше запомнилось то, что она делала: постоянно стирала что-то белое, от нее пахло лекарствами. Мама была медсестрой в партизанском отряде.

Где-то тут мы с маленьким братом. Он все время болеет. Вот его помню — красного, все тельце покрыто коростой. Вдвоем плачут с мамой ночью. Он от боли, мама от страха, что он умрет.

А дальше вижу, как к большой крестьянской хате, в которой разместился мамин госпиталь, идут бабы с кружечками. В кружечках молоко. Молоко сливают в ведро, и мама купает в нем брата. Брат ночью не кричит, спит. Первую ночь... А утром мама говорит отцу:

— Чем я отплачу людям?

Большая фотография... Одна большая фотография...

«ТАК Я ВАМ ХОТЬ БУЛЬБОЧКИ

В КАРМАН НАСЫПЛЮ...»

|||||

Катя Заяц — 12 лет.

Сейчас — рабочая совхоза «Кличевский».

Бабушка гонит нас от окон...

А сама смотрит и маме рассказывает:

— Нашли в жите старого Тодора... Там были наши раненные солдаты... Он принес им костюмы своих сынов, хотел переодеть, чтобы немцы не опознали. Солдат постреляли в жите, а Тодора привели на его двор и приказали выкопать яму возле хаты. Копают...

Старый Тодор — это наш сосед. Из окна видно, как он копает яму. Вот выкопал... Немцы забирают у него лопату, что-то по-своему ему кричат. Старик не понимает или не слышит, потому что давно глухой, тогда они толкнули его в яму и показали, чтобы стал на коленки. Так и засыпали живого... На коленках...

Всем стало страшно. Кто это? Разве это люди? Первые дни войны...

Долго обходили хату старого Тодора. Всем казалось, что он из-под земли кричит.

Сожгли нашу деревню так, что одна земля осталась. Одни камни во дворах, и те черные. У нас на огороде травы даже не осталось. Сгорела. Жили по милости — идем с сестричкой в чужие деревни, просим людей:

— Подарите что-нибудь...

Мама больная. Мама ходить с нами не могла, она стыдилась.

Придем в хату:

— Откуда вы, деточки?

— Из Ядреной Слободы. Нас спалили.

Давали: ячменя мисочку, хлеба кусочек, яйцо одно...

Так уже спасибочки людям, все давали.

Другой раз переступишь порог, бабы в голос плачут:

— Ой, детки, сколько ж вас! Утром прошло две пары.

Или:

— Только вышли от нас люди. Хлеба не осталось, так я вам хоть бульбочки в карманы насыплю.

Так из хаты не выпустят, чтобы с пустыми руками. Хоть льна по жменьке, но дадут, и насобираем за день льняной снопик. Мама пряла сама, ткала. На болоте торфом красила, в черный цвет.

Вернулся с фронта отец. Начали ставить хату, на всю деревню осталось две коровы. Лес на коровах возили. На себе. Больше своего роста полено мне было не осилить, а если одинаковое со мной по росту — тянула.

Война не скоро кончилась... Считают: четыре года. Четыре года стреляли... А забывали — сколько?

000

За два дня по

Через два дня немцы вошли в город. Они выжили

Уже в советской и отечественной литературе о войне рассказывали даже в Бразилии

Отец наш Степан Алексеевич Трутко — зампред.

Фольга забывает остроту и исполняет жостко в Остров

VIDEO FRANKENMILK IS NOTED AS BEING A HIGHLY EFFECTIVE

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

зал, что пароход, на котором они плыли к Днепропетровску, разбомбили. Кто уцелел, тот попал в плен. Несколько человек бежало, среди них и наш Саша.

Все обрадовались, когда к деду зашли партизаны — уйдем с ними! Будем мстить.

— Сколько классов окончил? — спросил меня командир, когда нас привели к нему.

— Пять классов.

Услышал приказ:

— Оставить в семейном лагере.

Братьям выдали винтовки, а мне карандаш, чтобы учился.

Я уже был пионер. Это был мой главный козырь, что я уже пионер. Просился в боевой отряд.

— У нас карандашей меньше, чем винтовок, — смеялся командир.

Крутом война, а мы учились. Школу нашу называли «зеленой школой». Не было парт, классов, учебников, были только ученики и учителя. На всех один букварь, один учебник истории, один задачник по арифметике и один учебник грамматики. Без бумаги, мела, чернил и карандашей. Расчистили поляну, посыпали песком, и это была наша «школьная доска», на ней писали тонкими прутиками. Вместо тетрадок партизаны приносили нам немецкие листовки, старые обои и газеты. Даже школьный звонок где-то добыли. Ему радовались больше всего. Разве это настоящая школа, если не звенит звонок? Были у нас красные галстуки.

— Во-оз-дух! — кричит дежурный.

Поляна пустеет.

А после бомбежки урок продолжается. Первоклассники выводят прутиками на песке:

— Ма-ма мы-ла ра-му...

Из веточек и чурочек сделали большие стоячие счеты. Из дерева вырезали несколько комплектов азбуки. У нас были даже уроки физкультуры. Оборудовали спортивную площадку с перекладиной, беговой дорожкой,

шестом и крутами для метания гранат. Гранаты я метал дальше всех.

Закончил шестой класс и твердо сказал, что в седьмой пойду после войны. Дали мне винтовку. Потом сам добыл бельгийский карабин, он был маленький и легкий.

Я научился хорошо стрелять... А математику забыл...

КУБАНКУ С КРАСНОЙ ЛЕНТОЧКОЙ...»

Зоя Васильева — 12 лет.

Сейчас — инженер-патентовед.

Сколько у меня было радости до войны! Счастья! И это спасло...

Я поступила в хореографическую студию при нашем Театре оперы и балета. Студия экспериментальная, выбирали самых талантливых детей. А мне написал рекомендательное письмо знаменитый московский режиссер Гализовский. В тридцать восьмом году был парад физкультурников в Москве, и я на него попала, нас послали от Минского Дворца пионеров. Пускали в небо синие и красные шары... Шли в колонне... Гализовский был главным режиссером этого парада, и он меня заметил.

Через год он приезжает в Минск, находит меня и пишет письмо Зинаиде Анатольевне Васильевой, народной артистке... Нашей белорусской знаменитости... Она в это время организовала хореографическую студию. Несу письмо, очень хочется прочитать, что в нем написано, но я себе этого не разрешаю. Зинаида Анатольевна жила в гостинице «Европа», недалеко от консерватории. Поскольку я все делала тайно от родителей, то очень спешила, когда уходила из дома. Бегала по улице босиком, а тут только в сандалии влезла, не переодевалась. Надень я что-нибудь праздничное, мама бы спро-

сила: «Куда ты?». А родители слушать не хотели ни о каком балете, были абсолютно против. Категорически.

Отдала я Зинаиде Анатольевне письмо, она прочитала и говорит: «Раздевайся. Посмотрим руки, ножки». Я замерла в ужасе: как это я сейчас сниму сандалии, когда у меня ноги грязные? У меня, видно, было такое выражение лица, что она все поняла. Дала мне полотенце, пододвинула стул к умывальнику...

В студию меня зачислили, из двадцати человек осталось только пятеро. Началась новая жизнь: классика, ритмика, музыка... Какая я была радостная! Зинаида Анатольевна меня любила. А мы все любили ее, это был наш кумир, наше божество, никого в мире не было красивее ее. В сорок первом году я уже танцевала в балете «Соловей» Крошнера, была занята во втором акте в танце казачков. Мы еще успели показать его на декаде белорусского искусства в Москве. Был успех. Я танцевала также маленького цыпленка в нашей студийной премьере — в балете «Цыплята». Там была большая курица-мама, а я самый маленький цыпленок.

После декады в Москве нас наградили путевками в пионерский лагерь под Бобруйском. Там мы тоже танцевали своих «цыплят». В подарок нам обещали испечь огромный торт. Его испекли на двадцать второе июня...

В знак солидарности с Испанией мы носили пилоточки, мой любимый головной убор. Я его сразу надела, когда дети закричали: «Война!». По дороге в Минск потеряла пилоточку...

В Минске мама обняла меня на пороге, и мы побежали к станции. Под бомбежкой потерялись. Я не нашла маму с сестренкой, ехала без них. Утром поезд остановился в Крупках и дальше не пошел. Люди заходят в деревенские хаты, а я стесняюсь, потому что без мамы, одна. Вечером все-таки зашла в один дом, попросила попить что-нибудь. Дали мне молока. Поднимаю глаза от кружки на стенку и вижу — моя молодая мама в подве-

нечном платье. Как закричу: «Мама!». Дед со старухой стали меня расспрашивать: «Откуда ты? Кто такая?». Подобное только в войну может случиться — я попала к своему двоюродному деду, брату папиного отца, которого никогда не видела. Конечно, он меня никуда не пустил. Такие чудеса!

В Минске я танцевала «цыплят», а теперь мне надо было их сторожить, чтобы сороки не унесли. Цыплята — это ничего, а гусей я боялась. Я боялась всего, я даже петуха боялась. Первое мужество я проявила, когда погнала гусей на выпас. Гусак был умный, он понимал, что я его боюсь, шипел и норовил потянуть сзади за сарафанчик. Приходилось хитрить перед моими новыми друзьями, которые с детства не боялись ни гусей, ни петуха. Еще я очень пугалась грозы. Если я видела, что идет гроза, тут же что-нибудь придумывала и убегала в первый попавшийся дом. И не было страшнее звука, чем выстрел грома. А ведь я уже видела бомбежку...

Мне нравились деревенские люди, их доброта, все звали меня «дитяточко». Помню, что меня очень интересовала лошадь, нравилось ею править, дед разрешал. Она фыркнет, хвостиком помашет, а главное — она меня слушала: дерну правой рукой, она знает, что сюда надо повернуть, если влево — то влево.

Просила деда:

— Отвези меня на лошади к маме.

— Кончится война, тогда отвезу.

Дед был хмурый и строгий.

Я устроила побег, за деревню меня проводила подружка.

На станции залезла в теплушку, оттуда выгнали. Залезла на какую-то машину, села с краю. Вспомнить страшно: садятся в машину немец с немкой, и с ними полицейай, и я там, но они меня не тронули. В дороге стали задавать вопросы: «Где училась? Сколько окончила классов?».

Когда они узнали, что я училась еще и в балетной школе, не поверили. Тут же, в кузове, показала им своего «цыпленка». А учила ли я иностранный язык?

В пятом классе мы уже начали учить французский язык, все это еще свежо в памяти. Немка что-то спросила у меня по-французски, я ей ответила. Они были поражены, что подобрали в деревне девочку, которая закончила пять классов, училась в балетной школе и даже знает французский язык. А это были, как я поняла, медики, образованные люди. Им внушили, что мы дикари. Недочеловеки.

Вот сейчас смешно: петуха боялась, а увидела партизан — в папахах, португее, со звездочками и автоматами: «Дяденьки, я смелая. Возьмите меня с собой». В партизанском отряде все мои мечты кончились тем, что я сидела на кухне и чистила картошку. Вы представляете бунт у меня в душе! Неделю отдежурила на кухне, прихожу у командиру отряда: «Хочу быть настоящим бойцом». Он дал мне кубанку с красной ленточкой, а я хотела сразу винтовку. Умереть не боялась.

Вернулась к маме с медалью «Партизан Отечественной войны II степени». Пошла в школу и забыла обо всем, играла с девчонками в лапту, каталась на велосипеде. Один раз влетела на велосипеде в воронку от бомбы, поранилась, увидела кровь и не войну вспомнила, а свою балетную студию. Как я теперь буду танцевать? Приедет скоро Зинаида Анатольевна Васильева, а у меня разбитая коленка...

Только не пришлось мне вернуться в балетную школу. Пошла работать на завод, надо было помогать маме. А учиться хотелось... Дочь моя училась в первом классе, а мама ее — в десятом. В вечерней школе.

Муж подарил мне билет в театр оперы и балета. Весь спектакль я сидела и плакала...

«И СТРЕЛЯЮ ВВЕРХ...»

|||||

Аня Павлова — 9 лет.

Сейчас — повар.

Ой, душа будет болеть... Опять заболит...

Немцы тащили меня в сарай... Мама бежала следом и рвала на себе волосы. Она кричала: «Делайте со мной, что хотите, только не трогайте дитя». У меня еще было два младших брата, они тоже кричали...

Родом мы из деревни Меховая Орловской области. Оттуда нас пешком пригнали в Беларусь. Гнали из концлагеря в концлагерь... Когда меня хотели забрать в Германию, мама подложила себе живот, а мне дала на руки меньшего братика. Так я спаслась. Меня вычеркнули из списка.

Ой! Душа будет сегодня весь день и всю ночь не на месте. Тронула, разворошила...

Собаки рвали детей... Сядем над разорванным дитяткой и ждем, когда сердце у него остановится. Тогда снегом прикроем... Вот ему и могилка до весны...

В сорок пятом... После Победы... Послали маму строить в Ждановичах санаторий, я — с ней. И так тут и осталась. Сорок лет в санатории работаю... С первого камня я тут, все на моих глазах поднималось. Дадут мне винтовку, десять пленных немцев, и я их на работу веду. Первый раз привела, бабы обступили нас: кто с камнем, кто с лопатой, кто с палкой. А я вокруг пленных бегаю с винтовкой и кричу: «Бабоньки! Не трогайте их... Бабоньки, я за них расписку дала. Стрелять буду!» И стреляю вверх.

Бабы плачут, и я плачу. А немцы стоят. Глаз не поднимают.

В военный музей мама ни разу меня не водила. Один раз увидела, что я смотрю газету с фотографиями расстрелянных — забрала и поругала.

У нас в доме до сих пор нет ни одной военной книжки. А уже я давно живу без мамы...

МАМА НОСИЛА МЕНЯ НА РУКАХ...»

Инна Старовойтова — 6 лет.

Сейчас — агроном.

Мама поцеловала нас и ушла...

Мы остались в шалаше вчетвером: младшие — братик, двоюродные брат и сестра и я — самая большая, семь лет. Мы не в первый раз оставались одни и научились не плакать, вести себя тихо. Знали, что мама наша разведчица, ее послали на задание, а нам надо ее ждать. Из деревни мама нас забрала, и жили мы теперь с ней вместе в семейном партизанском лагере. Это долго была наша мечта! А теперь — наше счастье.

Сидим и слушаем: деревья шумят, женщины неподалеку стирают, детей своих ругают. Вдруг крик: «Немцы! Немцы!». Все стали выбегать из своих шалашей, звать детей, убегать дальше в лес. А куда мы побежим, одни, без мамы? А вдруг мама знает, что немцы идут в лагерь, и бежит к нам? Так как я самая старшая, приказываю: «Молчок всем! Здесь темно, и немцы нас не найдут».

Притаились. Совершенно затихли. Кто-то заглянул в шалаш и сказал по-русски:

— Кто есть, выходите!

Голос был спокойный, и мы вылезли из шалаша. Я увидела высокого человека в зеленой форме.

— У тебя папа есть? — спросил он у меня.

— Есть.

— А где он?

— Он далеко, на фронте, — выложила я.

Помню, что немец даже засмеялся.

— А мама твоя где? — задал он очередной вопрос.

— Мама с партизанами в разведку ушла...

Подошел другой немец, тот был в черном. Что-то они переговорили, и этот, черный, показал нам рукой, куда надо идти. Там стояли женщины с детьми, которые не успели убежать. Черный немец навел на нас пулемет, и я поняла, что он сейчас будет делать. Я не успела даже закричать и обнять маленьких...

Проснулась я от маминого плача. Да, мне казалось, что я спала. Приподнялась, вижу: мама копает ямку и плачет. Она стояла спиной ко мне, а у меня не было сил ее позвать, сил хватало только, чтобы смотреть на нее. Мама разогнулась передохнуть, повернула ко мне голову и как закричит: «Инночка!». Она кинулась ко мне, схватила на руки. В одной руке меня держит, а другой остальных ощупывает: вдруг кто-нибудь еще из детей живой? Нет, они были холодные...

Когда меня подлечили, мы с мамой насчитали у меня девять пулевых ран. Я училась считать: в одном плечике — две пули и в другом — две пули. Это будет четыре. В одной ножке две пули и в другой — две пули. Это будет уже восемь. И на шейке — ранка. Это будет уже девять.

Кончилась война... В первый класс мама носила меня на руках...

СОБАКА, МИЛЕНЬКАЯ, ПРОСТИ...»

Галина Фирсова — 10 лет.

Сейчас — на пенсии.

У меня была мечта — поймать воробья и съесть...

Редко, но иногда птицы появлялись в городе. Даже весной все смотрели на них и думали об одном, о том же, о чем думала я. О том же... Отвлечься от мыслей о еде ни у кого не хватало сил. От голода я ощущала внутри постоянный холод, страшный внутренний холод. Также и в солнечные дни. Сколько на себя ни надень, холодно, нельзя согреться.

Очень хотелось жить...

Я рассказываю о Ленинграде, где мы тогда жили. О ленинградской блокаде. Убивали нас голодом, убивали долго. Девятьсот дней блокады... Девятьсот... Когда один день мог показаться вечностью. Вы не представляете, каким длинным голодному человеку кажется день. Час, минута... Долго ждешь обеда. Потом ужина. Блокадная норма дошла до ста двадцати пяти граммов хлеба в день. Это у тех, кто не работал. По иждивенческой карточке... Из этого хлеба текла вода... Разделить его надо было на три части — завтрак, обед, ужин. Пили только кипяточек. Голый кипяточек.

В темноте... С шести утра я занимала зимой (помню больше всего зиму) очередь в булочную. Стоишь часами. Длинными часами. Пока подойдет моя очередь, на

улице опять темно. Горит свеча, и продавец режет эти кусочки. Люди стоят и следят за ним. За каждым движением... Горящими... безумными глазами... И все это в молчании.

Трамваи не ходят. Воды нет, отопления нет, электричества нет. Но самое страшное — голод. Я видела человека, который жевал пуговицы. Маленькие и большие пуговицы. Люди сходили с ума от голода...

Был момент, когда я перестала слышать. Тогда мы съели кошку... Я расскажу, как мы ее съели. Потом я ослепла... Нам привели собаку. Это меня спасло.

Не вспомню... Не запомнила, когда мысль о том, что можно съесть свою кошку или свою собаку, стала нормальной. Обыкновенной. Стала бытом. Не проследила этот момент... Вслед за голубями и ласточками вдруг стали исчезать в городе кошки и собаки. У нас не было никого, как-то мы не заводили их, потому что мама считала: это очень ответственно, особенно большую собаку взять в дом. Но мамина подруга не могла сама съесть свою кошку и принесла ее нам. И мы съели. Я опять стала слышать... Слух исчез у меня внезапно, утром еще слышала, а вечером мама что-то говорит мне, а я не отвечаю.

Прошло время... И вот мы опять умираем... Мамина подруга привела нам свою собаку. И мы ее тоже съели. И если бы не собака, мы бы не выжили. Конечно, не выжили бы. Это — ясно. Уже начали опухать от голода. Сестра не хотела утром вставать... Собака была большая и ласковая. Два дня мама не могла... Как решиться? На третий день она привязала собаку к батарее на кухне, а нас выгнала на улицу...

Помню эти котлеты... Помню...

Очень хотелось жить...

Часто собирались и сидели возле папиной фотокарточки. Папа был на фронте. Письма от него приходили редко. «Девочки мои...» — писал он нам. Мы отвечали, но старались его не расстраивать.

Мама хранила несколько кусочков сахара. Маленький бумажный мешочек. Это был наш золотой запас. Один раз... Я не выдержала, я знала, где лежит сахар, залезла и взяла один кусочек. Через несколько дней еще один... Потом... Прошло немного времени — опять... Скоро в мамином мешочке ничего не осталось. Пустой мешочек...

Заболела мама... Ей нужна глюкоза. Сахар... Она уже не может подняться... На семейном совете решили — достать заветный мешочек. Наше сокровище! Ну вот мы его и сберегли для такого дня! Мама обязательно выздоровеет. Старшая сестра стала искать, а сахара нет. Весь дом перерыли. Я вместе со всеми искала.

А вечером призналась...

Сестра меня била. Кусала. Царапала. А я просила ее: «Убей меня! Убей! Как я буду теперь жить?!». Я хотела умереть.

Я вам рассказала о нескольких днях. А их было всех девятьсот.

Девятьсот таких дней...

На моих глазах девочка украла на базаре у одной женщины булочку. Маленькая девочка... Ее догнали и повалили на землю. Начали бить... Били страшно. Смертным боем. А она торопилась доест, проглотить булочку. Проглотить раньше, чем ее убьют.

Девятьсот таких дней...

Наш дедушка так ослабел, что один раз упал на улице. Он уже прощался с жизнью. А мимо шел рабочий, у рабочих продуктовые карточки были получше, ненамного, но лучше... Все-таки... Так этот рабочий остановился и влил дедушке в рот подсолнечного масла — свой паек. Дедушка дошел до дома, рассказывал нам и плакал: «Я даже имени его не знаю!».

Девятьсот...

Люди, как тени, медленно двигались по городу. Как во сне... В глубоком сне... То есть ты это видишь, но думаешь, что ты видишь сон. Вот эти медленные... вот эти

плывущие движения... Будто не по земле человек идет, а по воде...

Голос менялся от голода. Или совсем пропадал. Нельзя было определить по голосу — мужчина это или женщина? И по одежде нельзя, все закручены в какие-то тряпки. Наш завтрак... Наш завтрак был кусок обоев, старые обои, но на них остался клей. Мучной клей. Вот эти обои... и кипяточек...

Девятьсот дней...

Иду из булочной... Получила дневной паек. Эти крохи, эти жалкие граммы... А навстречу мне бежит собака. Поравнялась со мной и обнюхивает — слышит запах хлеба.

Я понимала, что это — наше счастье. Эта собака... Наше спасение! Я приведу собаку домой...

Дала ей кусочек хлеба, и она за мной пошла. Возле дома еще кусочек ей отщипнула, она лизнула мне руку. Вошли в наш подъезд... Но по ступенькам она поднималась неохотно, на каждом этаже останавливалась. Я отдала ей весь наш хлеб... Кусочек за кусочком... Так добрались мы до четвертого этажа, а наша квартира на пятом. Тут она уперлась и не идет дальше. Смотрит на меня... Как что-то чувствует. Понимает. Я ее обнимаю: «Собака, миленькая, прости... Собака миленькая, прости...». Прошу ее, упрашиваю. И она пошла.

Очень хотелось жить...

Услышали... По радио передали: «Блокада прорвана! Блокада прорвана!» — счастливее нас людей не было. Счастливее нельзя быть. Мы выстояли! Блокада прорвана...

По нашей улице шли наши солдаты. Я подбежала к ним... А обнять — сил не хватило.

В Ленинграде много памятников, но нет одного, который должен быть. О нем забыли. Это — памятник блокадной собаке.

Собака миленькая, прости...

«ЭТО НЕ МОЯ ДОЧЬ! НЕ МОЯ-А-А!»»»

Фаина Люцко — 15 лет.

Сейчас — киноработник.

Я каждый день вспоминаю, но живу... Как я живу? Объясните мне...

Помню, что каратели черные все, черные... С высокими фуражками... У них даже собаки были черные. Блестели.

Мы жались к матерям... Они не всех убивали, не всю деревню. Они взяли тех, кто справа стоял. На правой стороне. И мы с мамой там стояли... Нас разделили: детей — отдельно, а родителей — отдельно. Мы поняли, что они родителей будут сейчас расстреливать, а нас оставят. Там была моя мама... А я не хотела жить без мамы. Я просилась к ней и плакала. Как-то меня пропустили...

А она — как увидела... Как закричит:

— Это не моя дочь!

— Мамочка! Ма...

— Это не моя дочь! Не моя дочь! Не моя-а-а...

— Ма-а-амочка!

Глаза у нее не слез были полны, а крови. Полные глаза крови...

— Это не моя дочь!

Куда-то меня оттащили... И я видела, как сначала
стреляли в детей. Стреляли и смотрели, как родители

мучаются. Расстреляли двух моих сестер и двоих братьев. Когда убили детей, стали убивать родителей. Маму я уже не увидела... Мама, наверное, упала...

Стояла женщина, держала на руках грудного ребеночка, он сосал водичку из бутылочки. Они выстрелили сначала в бутылочку, потом в ребенка... А потом только мать убили...

Я удивляюсь, как я после всего живу? Ребенком выжила... Но как я взрослая живу? Я уже давно взрослая...

«РАЗВЕ МЫ — ДЕТИ?»

МЫ БЫЛИ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ...»

Виктор Лещинский — 6 лет.

Сейчас — директор энергетического техникума.

Приехал я в гости. Тетя позвала на лето к себе...

Жили мы в Быхове, а тетя — в деревне Коммуна под Быховом. В центре деревни стоял длинный дом, семей на двадцать, — коммунарский дом. Это все, что я успел запомнить.

Говорят: «Война». Надо ехать к родителям. Тетя не пустила:

— Война кончится, тогда поедешь.

— А скоро война кончится?

— Конечно, скоро.

Через какое-то время приходят пешком родители: «В Быхове немцы. Люди разбегаются по деревням». Остались мы у тети.

Зимой зашли в хату партизаны... Я попросил винтовку. Это были мамины племянники, а мои двоюродные братья. Посмеялись и дали подержать в руках. Тяжелая.

В хате все время пахло кожей. Теплым клеем. Отец шил партизанам сапоги. Я просил, чтобы и мне он сшил сапоги. Он говорил, мол, подожди, у меня много работы, а я, помню, доказывал, что мне нужны маленькие сапоги, у меня нога маленькая. Он обещал...

Последнее воспоминание об отце, как его гонят по улице к большой машине... И бьют палкой по голове...

...Кончилась война, у нас ни отца, ни дома. Мне одиннадцать лет, я самый старший в семье. Еще двое — братик и сестра, те маленькие. Взяла мама ссуду. Купили старую хату, там была такая крыша, что если шел дождь, спрятаться негде, везде текло. Пробивалась вода. В одиннадцать лет я сам осаживал окна, перекрывал крышу соломой. Строил сарай...

Как?

Первое бревно закатил и положил сам, второе — мама помогла. А выше нам уже одним поднять не под силу. Делал я так: обтешу бревно на земле, зарублю угол и жду, когда будут женщины идти на работу в поле. Утром они разом вцепятся и одно бревно поднимут, я его подточу и опущу в угол. До вечера еще одно обтешу. Они идут вечером с работы, поднимут... И стеночка растет...

В деревне семьдесят дворов, и всего двое мужчин с фронта вернулись. Один — на костылях. «Детка! Моя ты детка!» — голосила надо мной мама. Я где сяду вечером, там и засну.

Разве мы — дети? В десять-одиннадцать лет мы были мужчинами и женщинами...

«НЕ ОТДАВАЙ ЧУЖОМУ ДЯДЕ

ПАПИН КОСТЮМ...»

|||||

Валера Ничипоренко — 8 лет.

Сейчас — водитель автобуса.

Это уже сорок четвертый год...

Мне, наверное, уже было восемь лет? Думаю, восемь... Мы уже знали, что отца у нас нет. Другие ждали, получили похоронки, но все равно ждали. А у нас был достоверный знак. Доказательство. Друг отца переслал его часы. Сыну... Мне... Об этом отец попросил его перед смертью. У меня и сейчас эти часы есть, я их храню.

Жили мы на маленькую мамину зарплату втроем. Перебивались водой и хлебом. Заболела сестра. У нее признали открытую форму туберкулеза. Врачи сказали маме: надо хорошее питание, надо сливочное масло. Мед. И каждый день — сливочное масло! Для нас это было золото. Кусок золота... Что-то невероятное... По рыночным ценам маминой зарплаты хватало на три булки хлеба. А масла за эти деньги можно было купить двести грамм.

У нас остался еще папин костюм. Хороший костюм. Понесли мы с мамой его на базар. Нашелся покупатель, нашелся быстро. Потому что костюм был красивый. Отец его купил перед самой войной и не успел поносить. Костюм висел в шкафу... Новенький... Покупатель приценился, поторговался и деньги маме отдает, а я как

заору на весь базар: «Не отдавай чужому дяде папин костюм!». К нам даже подошел милиционер...

Кто после этого скажет, что дети не были на войне? Кто...

ГДЕ МОЯ ВЕСЕЛАЯ МАМА?.. »

Галя Спанновская — 7 лет.

Сейчас — техник-конструктор.

У памяти есть цвет...

То, что было до войны, помнится все в движении, оно движется и меняет краски. Чаще всего краски яркие. А война, детдом — все как остановилось. И краски серые.

Нас везли в тыл. Одних детей. Без мам. Везли долго, что-то очень долго. И кормили печеньем и шоколадным маслом, видно, ничем другим запастись в дорогу не успели. До войны я любила печенье и шоколадное масло, это очень вкусно. Но за месяц дороги я разлюбила их на всю жизнь.

Всю войну мне хотелось, чтобы приехала скорее мама, и мы вернулись в Минск. Мне снились улицы, кинотеатр возле нашего дома, мне снились трамвайные звонки. Мама у меня была очень хорошая, очень веселая, мы с ней жили как подружки. Папу не помню, папы у нас рано не стало.

И вот мама нашла меня и приехала в детдом. Это было совершенно неожиданно. Восторг! Бегу к маме... Открываю дверь... Стоит какой-то военный: в сапогах, в брюках, пилотке, гимнастерке. Кто это? А это, оказывается, моя мама, полный восторг! Мама, да еще военная!

Как она уезжала, не помню, я очень плакала, поэтому, видно, не помню.

Опять жду маму и жду. Три года жду. Мама приехала уже в платье. В туфлях. От этой радости, что тебя забирают, я ничего не видела, была только мама — и эта радость! Я смотрела на маму, но не замечала, что у нее нет одного глаза. Мама — это какое-то чудо... С ней ничего не может случиться... Мама! А мама приехала с фронта очень больная. Это уже была другая мама. Она мало улыбалась, она не пела, не шутила, как раньше, она много плакала.

Вернулись в Минск и жили очень трудно. Мы не нашли свой дом, который я так любила. Не было нашего кинотеатра... и наших улиц... Вместо всего — камни и камни...

Мама всегда была грустная. Не шутила и мало разговаривала. Больше молчала.

Ночью я плакала: где моя веселая мама? А утром улыбалась, чтобы мама не догадалась о моих слезах...

[illegible]

Сейчас — социолог.

Сон о первом убитом немце. Которого я сам убил, а не увидел убитого. То я лечу, и он меня не пускает. Вот поднимаешься... Летишь... летишь... Он догоняет, и падаешь вместе с ним. Проваливаешься в какую-то яму. То я хочу подняться, встать... А он не дает... Из-за него я не могу улететь...

К тому времени, когда я убил этого немца, я уже многое видел... Я видел, как застрелили моего деда на улице, а бабушку у нашего колодца... На моих глазах маму били прикладом по голове... Волосы у нее стали красными... Но когда я стрелял в этого немца, я не успел об этом подумать. Он был раненый... Я хотел забрать у него автомат, мне сказали забрать у него автомат. Мне было десять лет, партизаны уже брали меня на задания. Подбегаю к нему и вижу, как перед моими глазами пляшет пистолет, немец в него вцепился двумя руками и водит перед моим лицом. Но он не успевает первым выстрелить, успеваю я...

278

а вечером мы пришли. Я увидел обгоревшую женщину... Она лежала вся черная, а руки белые, живые женские руки. Вот тогда мне впервые стало страшно. Я хотел закричать, еле сдержался.

Нет, ребенком я не был. Не помню себя ребенком. Хотя... Убитых не боялся, а идти ночью или вечером через кладбище боялся. Мертвые, которые на земле, не пугали, а те, которые в земле, пугали. Детский страх... Он остался. Хотя... Хотя я думаю, что дети ничего не боятся...

Освободили Беларусь... Всюду лежали убитые немцы, своих подбирали, хоронили в братских могилах, а эти долго лежали, особенно зимой. Дети бегали в поле смотреть на мертвых... И тут же, недалеко, продолжали играть «в войну» или «в казаков-разбойников».

Я удивился, когда через много лет появился этот сон об убитом немце... Это было неожиданно для меня...

А сон преследовал меня десятки лет...

У меня сын, уже взрослый мужчина. Когда он был маленьким, меня измучивала сама мысль — попытаться рассказать... Рассказать ему о войне... Он расспрашивал, а я уходил от разговора. Я любил читать ему сказки, я хотел, чтобы у него было детство. Он вырос, а мне все равно не хочется говорить с ним о войне. Может быть, когда-нибудь я расскажу ему о своем сне. Может быть... Я не уверен...

Это надо разрушить его мир. Мир без войны... Люди, которые не видели, как человек убивает человека, это совсем другие люди...

СЛОВО «ПОБЕДА»...

Аня Корзун — 2 года.

Сейчас — зоотехник.

Я помню, как война кончилась... Девятое мая сорок пятого года...

В детский сад прибежали женщины:

— Дети, победа! Победа-а-а-а!

Все смеются и плачут. Плачут и смеются.

Стали нас все целовать. Незнакомые женщины... Целуют и плачут... Целуют... Включили репродуктор. Все слушали. А мы, маленькие, слов не понимали, мы понимали, что радость идет оттуда, сверху, из черной тарелочки репродуктора. Кого поднимали на руках взрослые... Кто сам лез... Залезали друг на друга лесенкой, только третий или четвертый доставал до черной тарелочки и целовал ее. Потом менялись... Всем хотелось поцеловать слово «победа»...

Вечером был салют. Небо сияло. Мама открыла окно и заплакала:

— Доченька, запомни это на всю жизнь...

Когда вернулся с фронта отец, я его боялась. Он даст мне конфету и просит:

— Скажи: папа...

Возьму конфету, спрячусь с ней под стол:

— Дядя...

У меня всю войну папы не было. Я выросла с мамой и бабушкой. С тетей. Не представляла: что будет делать в нашем доме папа?

Он же придет с винтовкой...

ИЗ ОТЦОВСКОЙ ГИМНАСТЕРКИ...»

Сейчас — таксист.

Мать закрывала меня в другой комнате... Или отправляла на улицу к мальчишкам... Но я все равно слышал, как кричал отец. Он кричал долго. Я прилипал к щелке между створками дверей: отец держал двумя руками больную ногу, качал ее. Или катался по полу и стучал кулаками: «Война! Проклятая война!».

— Это война болит?..

— Война! Она — проклятая, — отвечал отец.

Их мать, тетя Аня, бросалась к ним в могилу. Ее вытаскивали... Она кричала... люди так не кричат...

После войны отец умер от войны. От ран.

Мне не надо ничего придумывать. Я видел войну.
Мне снится война. Я во сне плачу, что завтра придут
и заберут нашего папу. В доме пахнет новым военным
сукном...

Война! Она проклятая...

КРАСНЫМИ ГВОЗДИКАМИ...»

Сейчас — инженер.

Но то, что произошло, оказалось еще хуже. Отец увидел меня и кинулся ко мне первый. Но тут же... На миг, на какой-то миг... Но я это почувствовала сразу... кожей, всем тельцем... Он будто отстранился... На одно мгновение... И так обидно стало. Так невыносимо горько. Что когда он взял меня на руки, я изо всех сил толкнула его в грудь. В нос мне вдругшибанул запах керосина. А ведь сопровождал он меня всюду и везде уже год, я уже перестала его слышать. Уже привыкла. А тут

услышала. Может, потому, что от отца так прекрасно и незнакомо пахло. Он был такой красивый по сравнению со мной и измученной мамой. И это ужалило меня в самую душу. Я сорвала бант. Бросила на землю. И наступила на него ногой.

— Что ты делаешь? — удивился отец.

— Твой характер, — смеялась мама, которая все понимала.

Она держалась за отца двумя руками, они и домой так шли.

Ночью я звала маму, просила, чтобы она взяла меня к себе в кровать. Я всегда спала с мамой... Всю войну... Но мама не отзывалась, будто бы она спит. Мне некому было рассказать о своей обиде.

Уже засыпая, я твердо решила, что убегу в детдом...

Утром отец подарил мне две куклы. А у меня до пяти лет не было настоящих кукол. Одни самоделки тряпичные. Бабушкины. У кукол, которые привез отец, глаза закрывались и открывались, двигались руки и ноги, одна пищала что-то вроде слова «мама». Мне это казалось волшебством. Очень дорожила ими, боялась даже на улицу выносить. Но в окошко показывала. Мы жили на первом этаже, посмотреть на мои куклы собирались дети со всего двора.

Была я слабая, болезненная. Вечно мне не везло. То лоб расшибу, то на гвоздь напорюсь. А то вообще в обморок шлепнусь. И дети меня в свои игры не очень-то брали. Я втиралась к ним в доверие, как могла, чего только не изобретала. Дошла даже до того, что начала подлизываться к Дусе, дочке дворничихи. Дуся была крепкая, веселая, играть с ней любили все.

Она попросила меня вынести куклу, я не удержалась. Правда, не сразу. Еще какое-то время сопротивлялась.

— Не буду с тобой играть, — пригрозила Дуся.

Это на меня подействовало сразу.

Я вынесла ту куклу, которая «говорила». Но поиграли мы с ней недолго. Из-за чего-то поссорились, дело дошло до петушиного боя. Дуся взяла мою куклу за ноги

и ударила о стенку. Отвалилась куклина голова, а из живота выпала кнопочка.

— Ты, Дуся, сумасшедшая, — стали плакать все дети.

— А чего она командует? — размазывала по щекам слезы Дуся. — Как у нее есть папка, так ей все можно. И куклы, и папка — все только ей.

У Дуси не было ни отца, ни кукол...

Первую елку мы устроили под столом. Жили тогда у дедушки, жили тесно. Причем так тесно, что пустое место оставалось только под большим столом. Туда и поставили маленькую елку. Украсила я ее красными гвоздиками. Хорошо помню, как свежо и чисто пахла елка. Этот запах ничто не могло перебить. Ни мамалыга, которую варила бабушка. Ни дедушкин сапожный вар.

Была у меня стеклянная бусинка. Мое сокровище. Никак не могла найти ей место на елке. Хотелось устроить так, чтобы с какой стороны ни поглядеть — она сияла. Приладила на верхушку. Ложилась спать, снимала ее и прятала. Боялась — исчезнет...

Спала я в корыте. Корыто было цинковое, отливалось синевой с морозными прожилками. Как его ни мыли после стирки, привкус золы, в которой стирали белье, так как мыло было редкостью, оставался. Мне он нравился. Я любила прижиматься лбом к холодным краям корыта, особенно когда болела. Очень любила раскачать его, как люльку. Тогда оно начинало предательски грохотать, и меня ругали. Корытом очень дорожили. Это была у нас единственная вещь, оставшаяся из довоенной жизни.

И вдруг мы покупаем кровать... Блестящие шарики на спинке... Все это привело меня в неопиcуемый восторг! Я залезла на нее и тут же скатилась на пол. Как же! Неужели! Я не поверила, что на такой красивой кровати можно спать.

Папа увидел меня на полу, поднял и крепко-крепко прижал к себе. А я прижалась к папе... Обняла его за шею, как обнимала его мама.

Помню, как он счастливо засмеялся...

[illegible]

Сейчас — инженер.

Пока папа был жив, пока мама была жива, мы о войне не рассказывали. Теперь, когда их нет, я часто думаю, как хорошо, когда в доме есть старики. Когда они живы — мы еще дети. Даже после войны мы еще дети...

— Папа, это гроза?

— Отойди от окна, это — война.

288

наизусть. Даже подсказывали артистам на экране или забегали вперед, перебивая их. Электричества ни в селе, ни в части не было, кино «крутили» с помощью движка. Затрещит движок — бросаем все и бежим занимать места у экрана, а то и табуретки с собой тащим.

Шли фильмы долго: закончится часть, все терпеливо ждут, когда киномеханик перемотает очередную бобину. Хорошо, когда лента новая, а если старая, то она постоянно рвется, — пока ее заклеют, пока подсохнет. А то и загорится лента — еще хуже. Совсем гиблое дело, когда движок заглохнет. Часто бывало, что фильм не успевали до конца досмотреть. Раздавалась команда:

— Первая рота — на выход! Вторая рота — на построение!

А если поднимали по тревоге, то и киномеханик убегал. Когда перерывы между частями слишком затягивались, терпение у зрителей лопалось и начиналось волнение, свист, крики... Сестра залезала на стол и объявляла: «Открываем концерт». Сама она страшно любила, как тогда говорили, декламировать. Текст не всегда знала твердо, но на стол залезала без страха.

Это у нее осталось с детсадовских времен, когда мы жили в военном гарнизоне под Гомелем. После стихов мы с ней пели, на бис нас вызывали с песней «Броня крепка и танки наши быстры». Стекла в столовой дрожали, когда бойцы подхватывали припев:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход...

Так вот, двадцать первого июня сорок первого года... За ночь до войны... В десятый, наверное, раз мы смотрели фильм «Если завтра война». После кино долго не расходились, отец еле загнал нас домой: «Спать вы сегодня будете? Завтра — выходной».

...Окончательно я проснулась, когда раздался рядом взрыв и из окна на кухне посыпались стекла. Мама за-

кутывала в одеяльце полусонного братика Толика. Сестра уже одета, папы дома нет.

— Девочки, — торопит мама, — скорее. На границе — провокация.

Мы бежим к лесу: мама задыхается, у нее на руках братик, и все время повторяет:

— Девочки, не отставайте... Девочки, пригнитесь...

Почему-то мне запомнилось, что очень сильно било в глаза солнце. Было ясно-ясно. Пели птицы. И этот пронизывающий гул самолетов...

Я дрожала, а потом мне стало стыдно, что я дрожу. Я всегда хотела подражать мужественным героям из книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», а тут вдруг дрожу. Взяла братика на руки, стала его качать и даже напевать «И девчонка молодая...». Была такая «любовная» песня в фильме «Вратарь». Ее часто пела мама, и она очень хорошо ложилась на мое тогдашнее настроение и состояние. Я была... влюблена! Не знаю, как там по науке, по книгам о психологии подростка, но я ходила постоянно влюбленной. Было время, когда мне нравилось сразу несколько мальчиков. Но в данный момент нравился один — Витя из граевского гарнизона, он учился в шестом классе. А этот шестой класс был с нашим пятым в одной комнате. Первый ряд парт — пятый класс, второй ряд — шестой класс. Не представляю, как учителя умудрялись проводить уроки. Мне было не до уроков. Как я себе шею не свернула, пяля глаза на Витю!

Мне нравилось в нем все: и то, что он маленького роста — под стать мне, и то, что у него голубые-голубые глаза — как у моего папы, и то, что он был очень начитанный — не то что Алька Поддубняк, который больно щелбаны давал и которому нравилась я. Особенно он любил Жюль Верна! Как и я. В красноармейской библиотеке было его полное собрание, и я все прочитала...

Не помню, сколько мы просидели в лесу... Не слышно стало взрывов. Наступила тишина. Женщины облег-

ченно вздохнули: «Отбили наши». Но тут... Среди этой тишины... Вдруг послышался гул летящих самолетов... Мы выскочили на дорогу. Самолеты летели в сторону границы: «Ур-ра!». Но что-то «не наше» было в этих самолетах: крылья не наши и гудели не по-нашему. Это были немецкие бомбардировщики, они летели крыло в крыло, медленно и тяжело. Казалось, что от них на небе нет просвета. Мы начали считать, сбились. Уже позднее, в хронике военных лет, я видела эти самолеты, но впечатление — не то. Съёмки делали на уровне самолетов. А когда на них смотришь снизу, сквозь гущу деревьев, да еще глазами подростка, — жуткое зрелище. Мне потом часто снились эти самолеты. Но сон был с продолжением — все это железное небо медленно падало на меня и давило, давило, давило. Просыпалась я в холодном поту, и меня бил озноб. Ужас!

Кто-то сказал, что разбомбили мост. Мы испугались: а как же папа? Папа не переплывет, он не умеет плавать.

Сейчас не могу сказать точно... Но помнится мне, что папа прибежал к нам: «Вас эвакуируют на машине». Передал маме толстый альбом с фотографиями и теплое ватное одеяло: «Укутай детей, продует». Взяли с собой только это. Так спешили. Ни документов, ни паспорта, ни копейки денег. У нас с собой была еще кастрюля котлет, которую мама приготовила на выходной день, и ботиночки брата. А сестра — о чудо! — схватила в последнюю минуту какой-то пакет, там оказалось мамино крепдешинное платье и туфли. Каким-то образом. Случайно. Может быть, они с папой хотели на выходные поехать в гости? Вспомнить никто уже не мог. Мирная жизнь исчезла мгновенно, отступила на дальний план.

Так мы эвакуировались...

До станции доехали быстро, а на станции сидели долго. Все дрожало и гремело. Погас свет. Стали жечь бумагу, газеты. Нашелся фонарь. От его света громадные тени сидящих людей — по стенам, по потолку. Они

то застывали, то двигались. И вот тут мое воображение разыгралось: немцы в крепости, наши в плену. Я решила попробовать — выдержу пытки или нет. Засунула пальцы между ящиков и придавила. Взыла от боли. Мама испугалась:

— Что с тобой, доченька?

— Я боюсь, что не выдержу пыток на допросе.

— Что ты, дурочка, какой допрос? Наши немцев не пропустят.

Она гладила меня по голове, целовала в макушку.

Эшелон шел все время под бомбами. Только начинают бомбить, мама ложится на нас: «Если убьют, то вместе. Или меня одну...». Первый убитый, которого я увидела, был маленький мальчик. Он лежал и смотрел вверх, а я его будила. Будила... Я не могла понять, что он неживой. У меня был кусочек сахара, я давала ему этот кусочек сахара, чтобы он только встал. А он не вставал...

Бомбят, а сестра шепчет мне: «Перестанут бомбить, и я буду слушаться маму. Всегда буду ее слушаться». И действительно, после войны Тома была очень послушной. Мама вспоминала, что до войны звала ее сорванцом. А наш маленький Толик... Он до войны уже хорошо ходил, хорошо говорил. А тут он перестал говорить, он все время хватался за голову.

Я видела, как поседела моя сестра. У нее были длинные-длинные черные волосы, они побелели. За одну ночь...

Состав тронулся. А где Тамара? В вагоне ее нет. Смотрим, а Тамара бежит за вагоном с букетом васильков. Там было большое поле, пшеница выше нашего роста, а в ней васильки. Ее лицо... До сих пор ее лицо у меня перед глазами. Черные глазенки раскрыты широко, бежит и молчит. Даже «мама» не кричит. Бежит и молчит.

Мама обезумела... Она рвется выскочить из поезда на ходу... Я держу Толика, и обе кричим. И здесь появился солдат... Он оттолкнул маму от двери, выпрыгнул, догнал Томку и с размаху швырнул ее в вагон. Утром мы

увидели, что она белая. Несколько дней ей ничего не говорили, прятали наше зеркало, пока она случайно не заглянула в чужое и заплакала:

— Мама, я уже бабушка?

Мама ее успокаивала:

— Обстрижем, снова вырастут черные.

После этого случая мама сказала:

— Все. Никуда из вагона. Убьют так убьют. Останемся живы, значит, судьба!

Когда кричали: «Самолеты! Всем выходить из вагонов!» — она запикивала нас под матрацы, а тем, кто выгонял ее из вагона, говорила:

— Дети убежали, а я идти не могу.

Надо сказать, что мама часто употребляла это загадочное слово «судьба». Я все допытывалась у нее:

— Что такое судьба? Это — Бог?

— Нет, не Бог. В Бога я не верю. Судьба — это линия жизни, — отвечала мама. — Я всегда, дети, верила в вашу судьбу.

Под бомбежкой мне было страшно... Жутко страшно. Потом уже, в Сибири, я себя ненавидела за трусость. Случайно, краешком глаза прочитала мамино письмо... Она писала папе. Мы тоже сочиняли первые в своей жизни письма, и я решила подсмотреть, что пишет мама. А мама как раз писала, что Тамара молчит, когда бомбят, а Валя плачет и боится. И для меня этого было достаточно. Когда весной сорок четвертого к нам приехал папа, я не могла на него глаз поднять — мне было стыдно. Ужас! Но о встрече с папой потом. До нее еще далеко...

Вспоминаю ночной налет... Обычно ночью налетов не было, и поезд шел быстро. А здесь налет. Сильный налет... Пули барабанят по крыше вагона. Рев самолетов. Светящиеся полосы от летящих пуль... От осколков... Рядом со мной убивают женщину. Это я потом понимаю, что она убита... Но она не падает. Упасть некуда, потому что вагон набит людьми. Женщина стоит между

нами и хрипит, ее кровь заливает мне лицо, теплая, липкая. И вот уже моя майка и трусики мокрые от крови. Когда мама закричала, дотронувшись до меня рукой:

— Валя, тебя убили? — я ничего не могла ответить.

После этого у меня наступил какой-то перелом. Я знаю, что после этого... Да... Я перестала дрожать. Мне уже все равно было... Не страшно, не больно, не жалко. Было какое-то отупение, безразличие.

Помню, что до Урала мы сразу не доехали. На какое-то время остановились в селе Баланда Саратовской области. Привезли нас туда вечером, мы уснули. Утром, в шесть утра, пастух щелкнул кнутом, и все женщины вскочили, схватили своих детей и с воплем выбежали на улицу: «Бомбежка!». Кричали, пока не пришел председатель и не сказал, что это пастух гнал коров. Тогда все опомнились...

Начинал гудеть элеватор, пугался и дрожал наш Толик. Он ни на секунду никого от себя не отпускал, только когда заснет, можно было выйти без него на улицу. Мама пошла с нами в военкомат, чтобы узнать об отце, попросить помощи. Военком у нее спрашивает:

— Покажите мне документы, что ваш муж командир Красной Армии.

Документов у нас не было, была только папина фотокарточка, папа на ней в военной форме. Он взял ее и сомневается:

— А может, это не ваш муж. Как вы докажете?

Толик увидел, что он держит карточку, не отдает:

— Отдай папу...

Военком рассмеялся:

— Ну этому «документу» я не могу не верить.

Сестра ходила пегая, мама остригла ей волосы. Каждое утро все проверяли: какие будут новые: черные или седые? Брат успокаивал: «Не пачь, Тома... Не пачь, Тома...» Волосы все равно выросли белые. Мальчишки ее дразнили. Задразнивали. Она никогда не снимала платка, даже на уроках.

Пришли из школы. Дома нет Толика.

— Где Толик? — побежали на работу к маме.

— Толик в больнице.

Несем с сестрой по улице голубой венок... Из подснежников... И матросский костюм брата. С нами идет мама, она сказала, что Толик умер. Возле морга мама стала и зайти туда не может. Не решается. Я зашла одна и сразу узнала Толика — он лежал голенький. У меня ни одной слезинки, я — деревянная.

Папино письмо догнало нас в Сибири. Мама всю ночь плакала, как написать папе, что сын умер. Утром мы все втроем отнесли на почту телеграмму: «Девочки живы. Тома поседела». И папа догадался, что Толика нет. У меня была подруга, у нее погиб отец, и я всегда в конце своего письма приписывала — она просила: «Папа, привет тебе от меня и от подружки Леры». Всем хотелось иметь папу.

Вскоре от папы пришло письмо. Он писал, что долго был с особым заданием в тылу и заболел. В госпитале ему сказали, что вылечить его может только семья: он увидит родных и ему станет легче.

Папу ждали несколько недель. Мама достала из чемодана свое заветное... крепдешиновое платье и туфли. У нас был уговор — не продавать это платье и туфли, как бы ни было трудно. Из суеверия. Боялись: если мы их продадим, то папа не вернется.

Слышу через окно папин голос и не могу поверить: неужели это папа? Не верилось, что я могу увидеть папу, мы привыкли его ждать. Для нас папа был тем, кого надо ждать и только ждать. В тот день сорвались занятия — вокруг нашего дома собралась вся школа. Ждали, когда выйдет папа. Это был первый папа, который приехал с войны. Еще два дня мы с сестрой не занимались, к нам без конца подходили, расспрашивали, писали записочки: «Какой папа?». А папа у нас особенный — Герой Советского Союза — Антон Петрович Бринский...

Папа, как когда-то наш Толик, не хотел быть один. Не мог. Ему было плохо одному. Он всюду таскал меня за собой. Однажды я услышала... Он рассказывал кому-то, как партизаны подошли к деревне и увидели много свежей, вскопанной земли. Остановились. Стоят на ней... А через поле бежит мальчик и кричит, что тут расстреляли их деревню и закопали. Всех людей.

Папа оглянулся, видит — я падаю. Больше он никогда при нас о войне не рассказывал...

Мы говорили о войне мало. Папа с мамой были убеждены, что такой страшной войны больше никогда не будет. Они долго в это верили. Единственное, что нас с сестрой осталось от войны — мы покупали куклы. Я не знаю, почему. Оттого, наверное, что нам не хватило детства. Детской радости. Училась я в институте, сестра знала, лучший подарок для меня — кукла. У сестры родилась дочь, я приехала к ним:

— Что тебе подарить?

— Куклу...

— Я спрашиваю, что тебе подарить, а не твоей девочке.

— Я отвечаю — подари мне куклу.

Росли наши дети — мы дарили им куклы. Мы всем дарили куклы, всем нашим знакомым.

Первой не стало нашей изумительной мамы, потом не стало нашего папы. Мы ощутили, сразу почувствовали, что мы — последние. У той черты... у того края... Мы — последние свидетели. Наше время кончается. Мы должны говорить...

Наши слова будут последними...

1978—2004

СОДЕРЖАНИЕ

|||||

<i>Вместо предисловия</i>	5
«Он оглянуться боялся...»	6
«Моя первая и последняя сигарета...»	8
«Бабушка молилась... Она просила, чтобы моя душа вернулась...»	12
«Они лежали на углях розовые...»	13
«А я все равно хочу маму...»	16
«Такие красивые немецкие игрушки...»	20
«Одна горсть соли... Все, что осталось от нашего дома...»	25
«И поцеловала в учебнике все портреты...»	29
«Я их руками собирала... Они белые-белые...»	31
«Жить хочу! Жить хочу!...»	33
«Через петельку для пуговицы...»	35
«Только мамин крик слышала...»	38
«Мы играли, а солдаты плакали...»	41
«На кладбище покойники лежали наверху... Как будто еще раз убитые...»	44
«И понял — это отец... У меня дрожали коленки...»	46
«Закрой глаза, сынок... Не смотри...»	49
«Братик плачет, потому что его не было, когда был папа...»	52
«Первой пришла эта девочка...»	53
«Я — твоя мама...»	56

«Просим: можно облизать?..»	58
«...еще пол-ложечки сахара»	60
«Домик, не гори! Домик, не гори!..»	64
«Она пришла в белом халате, как мама...»	67
«Тетенька, возьмите меня на колени...»	69
«...и стала качать, как куклу»	71
«Мне уже букварь купили...»	73
«...и не женихи, и не солдаты»	82
«Хотя бы один сыночек остался...»	84
«Слезы рукавом вытирает...»	87
«Он висел на веревочке, как ребенок...»	89
«Теперь будете мои дети...»	92
«Мы целовали им руки...»	94
«Я смотрела на них глазами маленькой девочки...»	96
«Мама наша не улыбалась...»	98
«Не могла привыкнуть к своему имени...»	100
«Гимнастерка у него была мокрая...»	102
«Как будто она ему дочь спасла...»	105
«В отряд меня несли на руках... Все во мне было отбито от пяток до макушки...»	108
«А почему я такой маленький?..»	111
«Их тянуло на человеческий запах...»	113
«Зачем они стреляли в лицо? Моя мама была такая красивая...»	115
«Ты просишь, чтобы я тебя пристрелил...»	120
«А на мне даже косыночки нет...»	124
«Играть на улице не с кем...»	127
«Она открыла окно... И отдала листочки ветру...»	129
«Ройте здесь...»	135
«Дедушку похоронили под окном...»	137
«...еще лопатками похлопали, чтобы было красиво...»	138
«Куплю себе платье с бантиком...»	141
«Как умер, если сегодня не стреляли?..»	144
«Потому что мы — девочки, а он — мальчик...» ..	150

«Ты мне не брат, если играешь с немецкими мальчишками...»	153
«Мы даже забыли это слово...»	158
«Вам надо ехать на фронт, а вы влюбились в мою маму...»	163
«В последние минуты они выкрикивали свои имена...»	169
«Все вчетвером впряглись мы в эти саночки...» ...	171
«Эти два мальчика стали легонькие, как воробьи...»	174
«Стеснялся, что ботиночки у меня девчоночьи...»	177
«Я кричала и кричала... Не могла остановиться...»	182
«Все взялись за руки...»	184
«Мы даже не знали, как хоронят... А тут откуда-то вспомнили...»	186
«Собрал в корзинку...»	188
«Котят они вынесли из хаты...»	191
«Запомни: Мариуполь, Парковая 6...»	194
«Я слышала, как у него остановилось сердце...» ..	196
«Убежал на фронт за сестрой, старшим сержантом Верой Редькиной...»	200
«В ту сторону, откуда восходит солнце...»	202
«Белая рубашка в темноте далеко светится...»	206
«На чистый пол, который я только вымыла...» ...	209
«А смотрел ли на это Бог? И что он думал...»	212
«А белый свет — ненаглядный...»	214
«Приносили длинные узкие конфеты... Похожие на карандаши...»	219
«Сундучок был как раз ему по росту...»	221
«Боялась увидеть этот сон...»	223
«Я хотела быть одна у мамы... И чтобы мама меня баловала...»	224
«А они не тонули, как мячики...»	226
«Запомнил синее-синее небо... И наши самолеты в этом небе...»	231
«Как спелые тыквы...»	233
«Мы ели... парк...»	236

«Кто будет плакать, того будем стрелять...»	240
«Мамочка и папочка — золотые слова...»	242
«Принесли ее по кусочку...»	244
«У нас как раз вывелись цыплята... Я боялся, что их убьют...»	247
«Король крестовый... Король бубновый...»	248
«Большая семейная фотография...»	252
«Так я вам хоть бульбочки в карман насыплю...» .	253
«Ма-ма мы-ла ра-му...»	255
«Он дал мне кубанку с красной ленточкой...»	258
«И стреляю вверх...»	262
«В первый класс мама носила меня на руках...» ..	264
«Собака, миленькая, прости... Собака, миленькая, прости...»	266
«А она убегала: “Это не моя дочь! Не моя-а-а!”» .	270
«Разве мы — дети? Мы были мужчинами и женщинами...»	272
«Не отдавай чужому дяде папин костюм...»	274
«Ночью я плакала: где моя веселая мама?»	276
«Он не дает мне улететь...»	278
«Всем хотелось поцеловать слово «победа»...»	280
«В рубашке из отцовской гимнастерки...»	282
«Украсила я ее красными гвоздиками...»	284
«Я долго ждал нашего папку... Всю мою жизнь...»	287
«У той черты... у того края...»	288

С В Е Т Л А Н А А Л Е К С И Е В И Ч

СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО»

«ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ»

«ЦИНКОВЫЕ МАЛЬЧИКИ»

«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ МОЛИТВА»

«ВРЕМЯ СЕКОНД ХЭНД»

Литературно-художественное издание

Светлана Алексиевич

**ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ
соло для детского голоса**

Редактор
Татьяна Тимакова

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Корректор
Алена Георгиева

Подписано в печать 07.07.2017.
Формат 84х108¹/₃₂.
Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,96.
Тираж 3 000 экз. Заказ 652.

«Время»
117105 Москва, Варшавское шоссе, 3
Телефон (495) 951 5568
<http://books.vremya.ru>
e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990 Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru>
e-mail: book@uralprint.ru

Светлана Александровна Алексиевич — всемирно известный белорусский прозаик, пишущий на русском языке. Родилась в 1948 году в Станиславе (ныне — Ивано-Франковск, Украина). Отец белорус, мать украинка, оба — сельские учителя. Позже семья переехала в Белоруссию. Закончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Работала в минской «Сельской газете», в журнале «Неман».

Несколько десятилетий писала документально-художественную хронику «Голоса Утопии» — пять книг, в которых «маленький человек» сам рассказывает о своей судьбе. По сути, создала собственный жанр — полифонический роман-исповедь, в котором из маленьких историй складывается большая история.

С начала 2000-х жила в Италии, Франции, Германии, Швеции. В 2012 году вернулась в Белоруссию.

Произведения Светланы Алексиевич переведены на 35 языков, послужили основой для сотен кинофильмов, спектаклей и радиопостановок во всем мире и удостоены многих международных премий.

В 2015 году удостоена Нобелевской премии по литературе.

